

Н. А. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКАЯ

„ДА БУДЕТЬ СВѢТЪ“.

РОМАНЪ.

IV-я книга „РАЗВАЛА“.

БЕРЛИНЪ

Издаице книжнаго магазина „ГРАДЪ КИТЕЖЪ“

1922 г.

ГЕРМАНИЯ.

Типографія Артели „ПЕЧАТНОЕ ИСКУССТВО“ въ Вюнсдорфъ.

1922 г.

Тебѣ — обливаемая кровью и слезами — Россія, благоговѣнно посвящаю мой трудъ.

Прошелъ цѣлый годъ, вмѣстившій громадное количество сложныхъ и острыхъ событій въ исторіи Европы и Россіи. Европейская война была окончена, но для Россіи еще не расцвѣла вѣтвь мира, и она продолжала ожесточенную гражданскую войну.

Настала осень 1919 года. Вероника Кампіони вернулась послѣ долгой отлучки обратно въ Петроградъ, вмѣстѣ со своимъ братомъ, четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, отъ котораго вѣяло той же жизнерадостью, что и отъ сестры. Это былъ симпатичный мальчикъ, съ мягкимъ характеромъ, благородной натурой и такой же благородной внѣшностью. Вероника, довольная, что братъ подлѣ нея, по прежнему бодрая, не похожая на упавшихъ духомъ петроградцевъ, все еще продолжала легко скользить по обрывистому краю современной пропасти. Она не удивлялась ничему, находя логическую связь въ трагическомъ событіи. Умѣя смотрѣть поверхъ жизни, она ничего не боялась. Присутствіе юнаго брата, ласковаго и одареннаго такой же, какъ и у нея, душевной бодростью, и вливало новыя свѣжія краски въ ея жизнь, замыкавшуюся во все болѣе и болѣе однообразныя рамки. Пріютивъ у себя на квартирѣ маленькую портниху Сонечку — крестницу своей тетки Анастасіи Ивановны, Вероника оказалась окруженной исключительной заботой о себѣ, такъ какъ Сонечка была полна громаднаго поклоненія, какъ таланту, такъ и личности художницы.

Стояла яркая ранняя осень. Вероника сошла съ трамвая далеко за городомъ на Полюстровскомъ шоссе. Направо ютились маленькіе пустые дачные домики, съ крошечными палисадниками, налѣво тянулись огороды, съ ровными рядами капусты, бураковъ и картофеля. Вдали синѣлъ густой хвойный лѣсъ. Толкнувъ покосившуюся калитку одного изъ палисадниковъ, отгороженнаго простой деревянной выцвѣтшей рѣшеткой, она нерѣшительно прошла по заросшей травой дорожкѣ и, не зная куда идти, остановилась. Изъ-за угла крошечной дачки показалась высокая, хрупкаго сложенія женщина, въ

свѣтломъ, красиваго покроя, костюмъ, странно подоткнутомъ у пояса, въ соломенной шляпкѣ съ опущенными полями, обрамлявшими миловидное породистое лицо съ тонкими чертами и свѣтлосѣрыми, слегка щурящимися, глазами.

— Будьте любезны, — обратилась къ ней Вероника, — не можете ли вы мнѣ сказать, какъ пройти къ заключеннымъ изъ Шпалерной тюрьмы, переведеннымъ сюда на принудительныя работы?

— Это здѣсь. Вы кого желаете видѣть? — учтиво спросила дама.

— Анну Федоровну Рязанцеву.

— Я ее сейчасъ позову. Присядьте, пожалуйста.

Вероника опустилаcь на скамью. Ея сердце сжалось отъ боли при видѣ удалявшейся фигуры, очевидно, тоже узницы знаменитой Шпалерной тюрьмы, въ стѣнахъ которой перебывало почти все мужское и женское петроградское общество.

— Ника, милая Ника!... — Изъ-за угла дачки быстрыми шагами вышла Анэта Рязанцева, въ старенькой черной юбкѣ и ситцевой блузкѣ. Голова ея была повязана бѣлой косынкой. Она имѣла сильно истомленный видъ.

— Наконецъ, Анэточка, я вижу васъ! Боже мой, цѣлыхъ пять мѣсяцевъ въ тюрьмѣ! Бѣдная вы моя! Устали, измучились?

— Да, я устала. Видите, какъ я постарѣла. А руки, посмотрите, на что стали похожи. Насъ тутъ заставляютъ гряды копать, а кромѣ того и всю черную работу мы, конечно, сами у себя выполняемъ. Сегодня какъ разъ мой день, но я сейчасъ попрошу ту даму, что меня къ вамъ вызвала, замѣнить меня. Это Воейкова. Вы узнали ее?

— Дочь бывшаго министра двора — графа Фредерикса?

— Да, она сидитъ за то, что Воейковъ скрылся на югъ, вѣроятно, къ Деникину.

— Вѣдь онъ сидѣлъ въ Петропавловской крѣпости послѣ февральскаго переворота?

— Сидѣлъ очень долго, потомъ его выпустили, и онъ бѣжалъ на югъ. Это стало извѣстнымъ, и его жену арестовали, какъ заложницу. Она сидитъ уже давно. И не она одна: много томится тутъ несчастныхъ людей. — Лицо Рязанцевой омрачилось; она тяжело вздохнула и поникла головой. Вероника, не находя словъ утѣшенія, молчала.

— Какое счастье, что, наконецъ, здѣсь разрѣшили свиданія, — прервала она минутное молчаніе.

— Мы этого никакъ не ожидали. Не смотря на тяжесть труда, мы всѣ, переведенныя сюда, довольны, что имѣемъ хотя бы иллюзію дачной жизни: зелень, воздухъ хорошій, и нѣтъ этой ужасной специфической тюремной обстановки. Да, тюрьма...

странно это, непонятно, что и я сижу въ тюрьмѣ, и бѣдный Коля тоже... Ну, довольно ныть!

Рязанцева встряхнула головой и взяла за обѣ руки Веронику. — А вы, моя милая Ника, все та же. Васъ время не мѣняетъ. Хотите пройти въ наше помѣщеніе? Посмотрите, какъ мы живемъ.

Рязанцева взяла художницу подъ руку и повела ее черезъ палисадникъ въ маленькій дворикъ, гдѣ подлѣ колодца копошилось двое грязно одѣтыхъ дѣтей.

— Это дѣти нашей надзирательницы. Она совсѣмъ простая женщина, но довольно добрая, и съ ней намъ не трудно ладить. Ахъ, да, я должна предупредить васъ; — Рязанцева остановилась на расшатанныхъ прогнившихъ ступенькахъ, ведущихъ въ грязныя сѣнцы, — недавно сюда перевели Марію Аполлоновну Бочаеву. Будьте при ней осторожны: мы ей не довѣряемъ.

— Какъ, Марія Аполлоновна здѣсь? Когда же ее арестовали? Я этого не знала.

— Она сидитъ за грандіозную спекуляцію мужа, въ которой, говорятъ, и сама принимала дѣятельное участіе. Теперь сказывается больной, лежитъ не вставая, ее навѣщаетъ преданная ей ея бывшая горничная, привозитъ ей все, что угодно: и шоколадъ, и масло, и бѣлый хлѣбъ, и варенье. Всѣмъ этимъ она дѣлится съ нами, но мы очень осторожны съ ней. Зачѣмъ она находится здѣсь? Разъ она больна, ее должны перевести въ лазаретъ на Шпалерную. Все это очень странно.

— Неужели вы думаете, Анѣточка, что она шпионить? Возможно ли это?

— Увы, это очень похоже, и есть основаніе такъ думать, — вздохнула Рязанцева.

Черезъ маленькія, загрязненныя, съ помойными ведрами, сѣнцы, они прошли внутрь занимаемой арестантками дачки, состоявшей изъ двухъ комнатъ, соединенныхъ чѣмъ то вродѣ арки. Въ переднемъ отдѣленіи находилась плита и русская печь. Пола въ ней не было; арестантки сами выложили ее кирпичемъ во избѣжаніе сырости. Стѣны и потолокъ были бревенчатые, оконца маленькія. вмѣсто кроватей шли вдоль стѣны доски, положенныя на кирпичи. Аккуратныя подушки, одѣяла или пледы, подлѣ каждой кровати ручные чемоданы или саки выдавали „буржуазность“ обитательницъ этого неуютнаго жилища. Въ меньшемъ отдѣленіи было всего три койки, изъ которыхъ одна была желѣзная, стоявшая въ углу подлѣ окна. На подоконникѣ красовался большой отцвѣтшій букетъ. Въ батистовомъ халатѣ, съ ногами, покрытыми толстымъ англійскимъ пледомъ, опершись спиной о подушки, сидѣла

па кровати Марія Аполлоновна. На пышно причесанныхъ волосахъ былъ надѣтъ кокетливый бѣлый батистовый чепецъ съ большимъ голубымъ бантомъ. Блѣдное лицо, освѣщенное слегка ввалившимися глазами, окаймленными синеватыми тѣнями, было красиво, но новая линия сжатого, въ углахъ опущеннаго рта, придавала непріятное выраженіе.

Едва Вероника перешагнула порогъ, какъ Марія Аполлоновна, читавшая книгу, увидѣла ее и, бросивъ книгу на стоявшій у кровати деревянный столикъ, протянула къ ней руки:

— Кого я вижу?!.. Вероника Антоновна! Гдѣ вы были? Васъ не было въ городѣ, когда меня арестовали. Садитесь ко мнѣ. Анна Федоровна, и вы тоже. Вотъ видите, гдѣ я нахожусь! Уже больше полугода. Всѣ нервы вымотались. Когда меня арестовали, я поручила моей бывшей горничной Наташѣ быть у васъ и просить, чтобы вы черезъ Манухина похлопотали бы обо мнѣ, но ей сказали, что вы давно уѣхали.

— Да, я отсутствовала цѣлыхъ восемь мѣсяцевъ; взявъ брата изъ Крыма, по дорогѣ застряла съ нимъ въ Кіевѣ и пережила всѣ бывшія тамъ перипетіи: отходъ нѣмцевъ, паденіе гетмана Скоропадскаго, приходъ Петлюры и затѣмъ — большевиковъ. Едва вырвались сюда. Хотя все это было очень интересно, но пережить было трудно; я оказалась въ Кіевѣ безъ вещей и безъ денегъ.

— А я, милая моя, и съ вещами и деньгами, а вотъ очутилась въ тюрьмѣ и тоже застряла въ ней, — горько улыбнулась Бочаева.

— Изъ-за денегъ и попали сюда. Вашему мужу надо было раньше уѣзжать изъ Петрограда. Слишкомъ обратилъ на себя вниманіе, — съ неизмѣнной папиросой во рту, низкимъ контролемъ отзывалась Рязанцева.

— А онъ гдѣ сейчасъ? Въ надежномъ мѣстѣ? — спросила Вероника.

— Какъ въ надежномъ? Онъ въ тюрьмѣ... Сперва скрывался, и поэтому засадили меня. Черезъ два мѣсяца онъ явился, думая, что тогда меня выпустятъ; его посадили, но меня все-таки не освободили.

— Вы больны? Что съ вами?

— На почвѣ нервнаго разстройства у меня что то сдѣлалось съ ногами: совсѣмъ ходить не могу; здѣсь хоть воздухомъ свѣжимъ дышишь, а тамъ на Шпалерной силъ больше не хватаетъ.

— Да, мы съ вами нѣсколько мѣсяцевъ, а несчастная Звегинцева съ дочерью второй годъ сидитъ и будетъ сидѣть до окончанія гражданской войны. И сколько такихъ, какъ она! Рязанцева скорбно покачала головой.

— Звезинцева очень измѣнилась? — спросила Вероника.

— Конечно, но она молодецъ. Откуда берется у нея эта душевная бодрость, эта энергія, эта неустанная готовность каждаго поддержать и подбодрить? Она у насъ на Шпалерной главный староста.

— Вотъ кто сидить ни за что! — Бочаева положила большую, красивой формы руку на исхудавшее колѣно Рязанцевой.

— Не я одна такъ сижу. Что дѣлать! Говорятъ, на міру и смерть красна. Маму жаль, одиноко брошенную теперь на чужія руки, бѣднаго брата жаль, а я ужъ смирилась со своей участью.

Вероника, съ болью сердца, прочла на усталомъ, блѣдномъ лицѣ своей пріятельницы покорность и апатію.

— Нѣтъ, милая, не надо этой апатіи. Я увѣрена, что вы вырветесь отсюда и еще поживете спокойно.

А братъ Коля? Нѣтъ, они его не выпустятъ за титулъ.

— Вѣдь онъ финляндскій подданный. Будутъ переговоры съ Финляндіей, и его навѣрное освободятъ.

— Ахъ, слышали мы про эти переговоры! — безнадежно махнула рукой Рязанцева. — Пройдемте на мою половину. — предложила она Вероникѣ, подымаясь съ табурета.

Во второмъ отдѣленіи у стѣны, напротивъ досчатыхъ коекъ, стоялъ сколоченный изъ досокъ длинный, узкій столъ на козлахъ. Подлѣ открытаго окна сидѣла простая среднихъ лѣтъ женщина въ грязноватой ситцевой юбкѣ, съ ребенкомъ на колѣняхъ.

— Это наша надзирательница, наше неотлучное начальство, — шепнула Рязанцева художницѣ.

— Коли кому карточки надоть, такъ сказывайте сейчасъ, — заговорила женщина, обращаясь къ Рязанцевой.

— Непремѣнно надо. И мнѣ, и Воейковой, и Бѣлосельской.

— Ну, и ладно. Вотъ въ три часа прійдетъ завѣдующій, такъ я скажу ему. А то сами скажите, какъ въ огорды пойдете.

Рязанцева съ Вероникой сѣли въ отдаленномъ углу комнаты на край койки. Рязанцева, послѣ долгаго одиночества на Шпалерной, испытывала крайнюю потребность излить накопившуюся боль и горечь души. Издерганные нервы плохо подчинялись, и Анна Федоровна, закрывая лицо руками и тихо плача, шопотомъ пересказывала все, что пришлось пережить за эти мѣсяцы.

— Они насъ держатъ въ пыткѣ ежеминутнаго страха за самихъ себя, а главное за нашихъ близкихъ, — говорила Рязанцева, подымая на Веронику заплаканные глаза, очерченные высокоприподнятой дугою темныхъ бровей.

— То они говорятъ, что насъ не сегодня-завтра разошлютъ въ отдаленные концентраціонные лагеря, то что многихъ изъ мужского отдѣленія той или другой тюрьмы поведутъ къ разстрѣлу: они знаютъ, что почти у каждой изъ насъ тамъ родные. Вчера, напримѣръ, они объявили намъ фамиліи тѣхъ, которыхъ сегодня должны разстрѣлять. Одна барышня у насъ всю ночь рыдала отъ отчаянія, такъ какъ между названными оказался ея женихъ. Сегодня же мы узнали, что женихъ ея цѣлъ и невредимъ. Письма доходятъ къ намъ туго. Да и что эта за переписка! Кромѣ нѣсколькихъ фразъ о здоровьи и о томъ, что надо прислать, писать ничего не разрѣшается. Разговоры наши только о тюрьмѣ, объ арестахъ и разстрѣлахъ. Въ концѣ концовъ, начинаешь думать, что было бы лучше, если бы насъ сразу прикончили. Вѣдь случись какой нибудь переворотъ, съ нами сдѣлаютъ тутъ, что захотятъ; никто ничего и не узнаетъ, а если и узнаютъ, то что толку.

Вероника, обнявъ худыя плечи Рязанцевой, молча, со скорбнымъ сердцемъ выслушивала ея жалобы, не находя словъ для утѣшенія.

— Я думаю, если васъ перевели со Шалерной сюда, гдѣ разрѣшены свиданія, значитъ, есть надежда и на освобожденіе.

— Ахъ нѣтъ, у нихъ это ровно ничего не значитъ. На дняхъ угнали въ Москву въ концентраціонный лагерь двоихъ, пробывшихъ здѣсь болѣе мѣсяца и надѣявшихся на освобожденіе.

— Да васъ то за что посадили?

— Они пронюхали, что я сестра Коли, т. е. барона Гельмъ, а Колька еще сдуру какъ то хвастался, что онъ родственникъ Маннергейма: это было передъ тѣмъ, какъ со дня на день ожидали выступленія Финляндіи. Я тогда же остерегала его. Вотъ и вышло, что Маннергеймъ и не подумалъ наступать, а большевики, живущіе въ нашемъ домѣ, донесли на Гороховую: Колю и сцапали, а за нимъ и меня. Несчастная старуха моя мама... Каково то ей теперь?!

— Эй, кто на огороды? Собирайтесь, да поживѣе: уже три часа. Нечего валандаться! — раздался съ порога сѣней зычный голосъ высокаго парня въ военной формѣ, съ заломанной на затылкѣ фуражкой.

— Это кто? — спросила художница, разглядывая широкоплечую фигуру, съ непріятнымъ грубымъ лицомъ, съ паниросой, зажатой между зубами въ углу рта.

— Это наше начальство — завѣдывающій.

— Что за типъ?

— Ничего себѣ. Особенно скверно еще не проявлялъ себя, только грубъ очень.

Рязанцева поднялась съ койки и стала подтыкать у талии юбку.

— Ужасно мажемся мы въ этихъ огородахъ, въ особенности въ дождь, — пояснила она, перегибая голову назадъ, чтобы поглядѣть, достаточно ли подобрано платье.

Вероникѣ вдругъ стало совѣстно за свой аккуратный, почти нарядный костюмъ, за то, что она сейчасъ поѣдетъ домой въ трамваѣ, въ то время какъ всѣ эти несчастныя, ничего дурного не сдѣлавшія женщины будутъ до вечера копаться въ грязной землѣ въ наказаніе за свое барство.

— Ну, шевелитесь вы, что ли! — опять раздался голосъ завѣдующаго. — Гдѣ же остальные? Что-то маловато.

— Пять человекъ на Шпалерную въ баню поѣхали, — пояснила молоденькая брюнетка, сидѣвшая подлѣ стола и зашивавшая подолъ своей юбки. Ея миловидное лицо было свѣжо, и яркій румянецъ игралъ на щекахъ.

— Кто это? — заинтересовалась Вероника.

— Это очень милая особа, сидитъ всего нѣсколько дней. У нихъ былъ обыскъ, нашли военные вещи и старую переписку исчезнувшаго на югъ брата.

— Однако, я поѣду, а то вамъ надо уходить. — Вероника крѣпко обняла пріятельницу.

— Маму почаще навѣщайте и бодрите, и ко мнѣ поскорѣе.

— На будущей недѣлѣ приѣду вмѣстѣ съ вашей мамой.

— Пойдемте, я васъ успѣю проводить до трамвая.

— Развѣ это можно? — удивилась Вероника.

— Да, мы пользуемся здѣсь относительной свободой. Они отлично понимаютъ, что ни одна изъ насъ не убѣжитъ, зная, какъ могутъ полатиться оставшіяся.

Вышли за калитку и спѣшнымъ шагомъ пошли вдоль шоссе по извилистой узенькой тропинкѣ, заросшей травой. Среди простора, убѣжавшаго прямой линіей шоссе и далеко раскинутыхъ вдаль до темной линіи лѣса-огородовъ, при блескѣ теплаго и яркаго дня, рѣзче выступала непривычная для глаза Вероники обветшалость, небрежность одежды и блѣдность истомленнаго лица подруги. Чувствовалось что-то несуразное и ненужное во всемъ, что здѣсь творилось.

— Спасибо вамъ, милая моя, еще разъ обнимая пріятельницу, проговорила Рязанцева и, стараясь подавить слезы, быстро повернулась и пошла обратно. Когда она подходила къ калиткѣ, то группа готовыхъ для работы дамъ только что выходила изъ палисадника. Рязанцева присоединилась къ нимъ.

— Знаете, кто у меня былъ сегодня? — обратилась

къ ней Воейкова, напоминавшая тонкую англійскую пастель въ блѣдно-голубоватомъ, слегка выцвѣтшемъ костюмѣ, съ странно выглядѣвшей высоко-подоткнутой юбкой, въ соломенной съ широкими полями старенькой шляпкѣ, завязанной у подбородка коричневой широкой лентой, и стройными, выглядѣвшими по-дѣвичьи, почти до колѣнъ видными, ногами въ черныхъ чулкахъ и такихъ же узенькихъ туфляхъ.

— У меня была моя бывшая камеристка. Я ее очень любила. Теперь она вышла замужъ за главнаго повара одной совѣтской столовой. Она узнала, что я тутъ, и вотъ пріѣхала меня навѣстить. Привезла мнѣ вкусныхъ вещей. Говорить, что у нихъ все есть, и она ни въ чемъ не нуждается. Странная превратность судьбы! — вздохнула Воейкова. — Я молюсь и вѣрю, что этому испытанію будетъ конецъ. У меня еще есть силы... Зачѣмъ вы сегодня такъ грустны. Анна Федоровна? Не надо унывать: уныніе — большой грѣхъ. У васъ была ваша пріятельница, а вы стали еще грустнѣе, — участливо глядя свѣтло-голубыми кроткими глазами въ лицо Рязанцевой говорила Воейкова.

Не знаю отчего, но на душѣ у меня сегодня такая тоска! Кажется, что конца не будетъ этой ужасной жизни въ тюрьмѣ. Не обращайтесь на меня вниманія: у меня эти дни что то нервы распались.

Арестованные, проработавъ на огородѣ до шести вечера, тщательно вымылись, почистили на себѣ загрязненные землей юбки и ботинки, пригладили волосы и пошли въ сосѣдній садикъ, гдѣ на выровненномъ кругу высился столбъ гигантскихъ шаговъ. На столбъ, грубо сколоченномъ изъ старыхъ досокъ, дамы, вернувшіяся изъ бани, готовили чай.

Это были единственные часы отдыха заключенныхъ, когда забывались тоска и горечь ихъ томленія. Аккуратно къ семи часамъ вечера изъ прилегавшей къ саду сосѣдней дачи приходили нѣсколько мушкетеровъ, заключенныхъ для тѣхъ же принудительныхъ работъ. Образовалась пріятная и даже веселая компанія. Бѣгали на гигантскихъ шагахъ, пили чай, шутили, острили и слегка ухаживали. Жизнь брала свое даже и въ такой атмосферѣ, насыщенной непрестанной тревогой за каждый послѣдующій часъ. Шопотомъ, озираясь по сторонамъ, передавались другъ другу слухи, принесенные посетителями.

Рязанцева была молчалива: она не могла отдѣлаться отъ гнетущей ее съ утра тоски. Воейкова, съ присущей ей характеру кроткой покорностью, въ неизмѣнно ровномъ и спокойномъ настроеніи, разливала присутствующимъ чай и улыбками отвѣчала на шутки. Особенно оживленной была Шепелева, — красивая, бѣлокурая, крупная молодая женщина, жена инженера, который, къ ея большой радости, былъ, какъ и она,

переведенъ на Полуостровъ. Шепелевъ — высокій, статный человѣкъ, съ подвижнымъ лицомъ и ласковыми глазами, слѣдилъ съ улыбкой за все нарастающимъ оживленіемъ жены.

— Наташа, хочешь на гигантскихъ шагахъ побѣгать? — обратился онъ къ ней, допивая чай.

— Хочу, Мишенька, хочу. Все, что хочешь, хочу — отвѣтила Шепелева и, отодвинувъ чашку съ недопитымъ чаемъ, побѣжала къ столбу.

— Можно подумать, что не въ тюрьмѣ, а на дачѣ, — указывая глазами въ сторону убѣжавшей Шепелевой, замѣтила Рязанцева.

— Такъ и надо, — отвѣтилъ бывший гвардейскій офицеръ, коренастый, сильный человѣкъ, съ упорнымъ взглядомъ серьезныхъ усталыхъ глазъ. — Въдѣ жизнь „какъ посмотришь кругомъ, такая пустая и глупая штука“. — Онъ подавилъ вздохъ. — Миѣ говорили, — продолжалъ онъ, — что у васъ сегодня была художница Кампиони.

Да, была.

— А она какъ чувствуетъ себя въ этомъ аду?

— Она молодецъ. Не унываетъ и даже продолжаетъ писать свои картины.

— Сильная, значить, натура, — покачалъ офицеръ головой.

— Ну-ка, и я пойду на гигантскіе. Не мѣшаетъ немного ноги размять. — Тяжелой походкой онъ направился къ кругу, гдѣ высоко взлетающая Шепелева звонко и раскатисто хохотала.

Совсѣмъ стемнѣло, когда заключенныя дамы, собравъ чашки, тарелки и чайники, распрощавшись съ мужчинами, зябко подергивая плечами отъ сразу похолодѣвшаго сырого воздуха, направились къ своей дачкѣ-тюремѣ.

— Что это вы такъ засидѣлись. Я тутъ одна совсѣмъ соскучилась, — отозвалась со своей койки Марія Аполлоновна.

На столикъ подлѣ ней горѣла маленькая керосиновая жестяная лампочка. Другая такая же горѣла въ сосѣднемъ отдѣленіи. Ихъ слабый желтовато-мутный свѣтъ уныло озарялъ неуютную внутренность бревенчатой комнаты. По обыкновенію, всѣ разсѣлись подлѣ длиннаго стола. Одна изъ дамъ читала вслухъ, остальные работали. Хотя слушали внимательно, но въ каждой склоненной надъ работой головѣ роились все тѣ же безотрадныя думы, безотвѣтные вопросы, горькіе упреки судьбѣ, выбросившей каждую изъ нихъ изъ семьи въ эту ни съ чѣмъ не схожую, гнусную тюремную обстановку. То и дѣло откладывалась работа, глаза останавливались на одной точкѣ, и видно было, что все окружающее уплывало за черту воспоминаній недавняго прошлаго.

Потомъ вырывался изъ груди тяжелый вздохъ, тоскливый взглядъ встрѣчался съ реальностью настоящаго, и голова опять склонялась надъ работой.

— Не довольно ли читать? Пора спать ложиться... вы какъ думаете? — прервала чтеніе Рязанцева. — Я что то устала сегодня.

— Да, пора ложиться. Уже начало двѣнадцатаго, — зѣвая и свертывая вязанье на большихъ деревянныхъ спицахъ, проговорила Воейкова. — Вотъ и еще одинъ день ушелъ. Слава Богу!..

За досчатой перегородкой тихонько запищалъ годовалый ребенокъ надзирательницы. Дамы, стоя подлѣ своихъ коекъ, стали молча безшумно раздѣваться и расчесывать распущенные волосы. Въ движеніяхъ видна была усталость. Повышенная веселость Шепелевой давно отлетѣла. Она улеглась раньше всѣхъ и, свернувшись клубочкомъ, поджавъ колѣни, зябко куталась въ толстое одѣяло,

Рязанцева, накинувъ на острые плечи коричневый вязанный платокъ, вышла за двери дачки, чтобы помолиться въ одиночествѣ. Холодный сырой воздухъ сразу пронизалъ все ея тѣло. Она плотнѣе запахнула платокъ и, скрестивъ на груди руки, подняла глаза къ небу. Оно было синее, холодное, усыянное крупными четкими звѣздами.

— Господи, Господи, услыши меня! — со скорбнымъ вздохомъ прошептала Анна Федоровна и безъ словъ, однимъ полетомъ мысли, стала молиться, роняя крупныя, горячія слезы на шерстяной платокъ. Далекое холодное небо въ неподвижномъ безмолвіи, съ мириадами мерцавшихъ звѣздъ, внимало этой одинокой скорбной молитвѣ.

— Можно тушить лампу? — вернувшись тихо спросила Анна Федоровна, уже готовая завернуть ея фитиль, какъ неожиданно раздался стукъ въ дверь. Всѣ тревожно приподнялись съ подушекъ.

— Кто тамъ? — спросила Бочаева, ближе всѣхъ лежавшая къ двери.

— Отворяйте, это я, — послышался голосъ завѣдующаго.

— Мы уже легли.

— Отворяйте, отворяйте...

Рязанцева, еще не совсѣмъ раздѣтая, пошла къ дверямъ.

— Боже, что такое?!... — слышался со всѣхъ сторонъ испуганный шопотъ.

— Мы уже легли; подождите немного. Что случилось? — стараясь придать голосу спокойствіе, спрашивала Рязанцева, полуоткрывая дверь.

— Въ гости, значить, къ вамъ. Вставайте. Съ музы-

кой пришелъ. Веселить буду. Да поскорѣе вы тамъ, — говорилъ завѣдующій изъ-за двери, перебирая клавиши гармоніи.

— Не поздно ли будетъ? Лучше бы завтра и пораньше, — нерѣшительно попробовала уговорить его Рязанцева.

— Чего тамъ завтра! Вставайте, да поживѣе.

— Хорошо. Погодите минутку. — Рязанцева захлопнула дверь. — Онь, кажется, пьянь, — проговорила она испуганнымъ шопотомъ.

— Боже мой, что же дѣлать?! Нельзя ли его какъ-нибудь спровадить? — быстро накидывая на себя бѣлье и платья и подкалывая волосы, съ поблѣднѣвшими лицами шептались дамы.

— Лучше впустить, а то все равно вломится и тогда будетъ совсѣмъ плохо, — рѣшили нѣкоторые. Между тѣмъ нетерпѣливый голосъ пьянаго начальства торопилъ изъ-за запертой двери:

— Долго ли я буду ждать? Нечего тамъ, — отворяйте!..

Кромѣ Маріи Аполлоновны всѣ были на ногахъ. Дверь открыли. Пьяный мужикъ, наигрывая на гармоніи пошло-веселый мотивъ, ввалился въ комнату:

— Ну, что, всѣ повставали? Теперь будемъ пѣсни пѣть и танцевать. Я пришелъ веселиться. Ладно! Отодвигайте столъ въ сторону, чтобы не мѣшалъ. Обѣ лампы сюда тащите... Я сяду посередкѣ, а вы, значить, вокругъ меня, и чтобы хоромъ пѣсни пѣть. Ну-тко, Рязанцева, запѣвай. У тебя голосъ басистый.

Дамы переглянулись. У каждой въ горлѣ стоялъ нервный клубокъ. Было ясно, что начинается что то безобразное и дикое. Хотѣлось изъ всѣхъ силъ протестовать и въ тоже время разсудокъ подсказывалъ, что всякій протестъ не только бесполезенъ, но и опасенъ.

— Ну-тка, не кобеньтесь, начинайте. Авось до вашихъ сосѣдей — кавалеровъ долетитъ, — тренькая на гармоніи, говорилъ начальствующимъ тономъ завѣдующій.

— Завтра поведутъ двоихъ, а то и троихъ изъ нихъ къ разстрѣлу, такъ пушай напоследокъ пѣсень вашихъ послушаютъ.

Изъ груди женщинъ вырвался стонъ.

— Чего вы тамъ? Теперь это дѣло привычное, — продолжалъ онъ, не то глумясь, не то съ пьяна не учитывая ни своихъ словъ, ни настоящаго положенія вещей.

— Кого же къ разстрѣлу? — надтреснутымъ голосомъ спросила Шепелева.

— А шутъ ихъ знаетъ! Кажись, что твоего муженька подстрѣлятъ. Ну-тко, хоровую... да повеселѣе!..

Рязанцева, еле справляясь съ нервной дрожью, затаму-

ла „Среди долины ровныя“... Кое кто подхватилъ, но голоса не повиновались, и пѣсня оборвалась. Завѣдующій ударилъ кулакомъ по гармоніи.

— Что вы это въ самомъ дѣлѣ! Точно хоронить кого собираетесь!.. Веселую, говорятъ вамъ... да что бы хоромъ и подружнѣе. Просить васъ надо, что ли?! Ужъ я попрошу!!

Рязанцева, видя, что положеніе становится опаснымъ, пересилила себя и съ отчаянной отвагой лихо во весь голосъ запѣла „Ахъ вы, сѣни“. Появившія опасность минуты, всѣ подхватили дружнымъ хоромъ. Къ нимъ присоединился пьяный голосъ мужика. Гармонія лихо выводила варіаціи. Съ каждой минутой начальство становилось требовательнѣе. Ему мало было однѣхъ пѣсень. Онъ потребовалъ, чтобы взяли за руки и хороводомъ вертѣлись вокругъ него. Не глядя другъ на друга, подавляя отчаяніе, съ опущенными глазами, забавляя пьянаго мужика, дамы, соединившись похолодѣвшими пальцами, съ безумно бьющимся сердцемъ и веселымъ мотивомъ на дрожащихъ губахъ, плавнымъ хороводомъ окружили покачивавшагося на скамьѣ завѣдующаго.

— А теперъ плясать. Ну-тка! Кто изъ васъ побойчѣе пляшетъ? Живо мнѣ! — скомандовалъ онъ и, изо всѣхъ силъ дернувъ гармонію, наполнилъ унылую комнату безшабашными разгульными звуками.

Съ остановившимся взглядомъ отъ чувства отчаянія и униженія, дамы, тяжело дыша, переглядывались.

— Ну, вы тамъ... сказали, чтобы плясали! — заоралъ все болѣе и болѣе хмелѣвшій мужикъ.

— Шепелева, ради Бога... начните вы... вы хорошо танцуете... — зашептали дамы, окружая ее... — Милая, надо непременно... вѣдь онъ совсѣмъ пьянъ, отъ него всего ожидать можно...

— Мужъ... мой несчастный Женья!.. Неужели его завтра убьютъ?! — хриплымъ голосомъ, съ трясущейся челюстью, простонала Шепелева. Блондинка, съ коротко остриженными выющимися волосами, она была свѣжа и красива. Въ лицѣ и во всей ея фигурѣ было что то грѣховное, плотское. Отчаяніе и злоба мелькнули въ ея загорѣвшихся не добрымъ огонькомъ глазахъ. Она закусила нижнюю губу, выгнула торсъ и въ дикой вакханической пляскѣ понеслась по неровному полу, кружась и вскидывая руками. Отъ ея большой гибкой фигуры по стѣнамъ и потолку летала громадная черная тѣнь. Было что то жутко-дикое въ этой безумной пляскѣ женщины, съ искаженнымъ отчаяніемъ и злобой лицомъ, въ тускло освѣщенной бревенчатой комнатѣ, съ рядомъ низкихъ коекъ, прижавшимися другъ къ другу женщинами, сбившимися въ испуганную кучу, съ пьянымъ растрепаннымъ

мужикомъ посрединѣ, отбивавшимъ тяжелыми сапожищами въ тактъ залухватскому мотиву. Это была настоящая danse masabre. За перегородкой громко, испуганно плакать ребенокъ надзирательницы.

И вдругъ среди этой дикой пляски, въ блѣлой головѣ танцовавшей женщины, съ поразительной отчетливостью выплыла картина стильнаго большого зала съ колоннами, освѣщеннаго по карнизу рядомъ электрическихъ лампъ, расписаннаго яркими „панно“: вдоль стѣнъ — узкіи столы, съ возлежащими, какъ въ древнемъ Римѣ, гостями: каскады цвѣтовъ, роскошь сервировки, костюмовъ и убранства зала... полные, сочные звуки рояля, и она, полуголеная, въ роскошномъ стильномъ костюмѣ, также извиваясь и кружась, несется по скользкому паркету подъ одобрителными и ласкающими взорами гостей тайнаго клуба, главнымъ членомъ котораго былъ погибшій отъ руки матроса — Астановъ. Это было менѣе трехъ лѣтъ тому назадъ, но теперь казалось ушедшимъ въ неизмѣримую даль... Воспоминанія колымомъ окружили обезумѣвшую отъ тоски голову блѣлой вакханки: рыданія подступили къ горлу. Со стономъ оборвавъ танецъ, она бросилась на койку и, забившись съ головой въ подушку, глухо и истерично разрыдалась.

Совѣтъ охмѣлѣвшій завѣдующій, сильно покачнувшись, упалъ со скамьи. Онъ сталъ грузно подыматься, бормоча себѣ подъ носъ ругательства. Изъ-за досчатой перегородки вышла надзирательница, помогла ему стать на ноги и вывела за дверь.

Блѣдосватое утро начинало проникать сквозь запотѣлыя окна.

Затушивъ раскопѣвшіеся лампочки, молча, не обмѣнявшись ни однимъ словомъ, сдерживая рыданія, дамы легли на свои твердыя койки. Не смотря на усталость трудового длиннаго дня, никто не сомкнулъ глазъ, ожидая утра, чтобы узнать страшную роковую вѣсть объ участи товарищей по несчастью.

Шепелева упросила надзирательницу, какъ только зашевелились на сосѣдней дачѣ, сходить узнать, что тамъ дѣлалось. Оказалось, что пьяный завѣдующій или пошутилъ или спуталъ: на мужской дачѣ все было благополучно.

II

Стояли свѣтлые октябрьскіе дни. Обыватели Петрограда были охвачены тайной и радостной тревогой: вмѣсто Юденича, неожиданно и быстро сталъ подвигаться отрядъ Родзянки. Плакаты и воззванія расклеивались на всѣхъ углахъ. На

вокзалахъ билеты выдавались лишь на самыя ближайшія станціи. Близкое продвиженіе бѣлыхъ стало неопровержимо, когда послышалась отдаленная канонада. Разнеслась вѣсть, скорѣй подтвержденная газетами, что бѣлые въ Царскомъ Селѣ. На нѣкоторыхъ улицахъ начали поспѣшно строить баррикады. На стѣнахъ домовъ большими буквами объявлялось, что безъ вся краснаго Петрограда врагу не отдадутъ. Телефонное сообщеніе было прервано. Опять начались обыски по квартирамъ, съ цѣлью найти запрятанное оружіе, опять послышались угрозы „буржуймъ“, затаившимъ радость и надежду на успѣхъ новой попытки бѣлыхъ овладѣть Петроградомъ. Съ музыкой проходили отряды солдатъ, грохоча мчались изъ стороны въ сторону грузовики.

— Ника, ты слышишь? — ночью спрашивалъ Веронику ея братъ Андрей, высовывая изъ-подъ одѣяла вздохмаченную темную головку, съ заспанными глазами. — Я послушаю черезъ форточку; можно?!... Стрѣляютъ изъ пушки... Это близко, это совсѣмъ близко.

Вероника, приподнявшись, ясно услышала глухіе выстрѣлы.

— Какъ ты думаешь, Ника, завтра уже могутъ прійти бѣлые?

— Право, я не знаю.

— Ну, а все-таки, ты какъ думаешь? — допытывался мальчикъ, захлопывая форточку. Вздрагивая отъ прохватившаго его холода, онъ спрыгнулъ съ подоконника, быстро скинулъ теплый суконный халатикъ и юркнулъ подъ одѣяло, спѣша вернуть утерянное тепло согрѣтой постели.

Мальчикъ, зарывъ голову въ подушки, сталъ мечтать о томъ, какъ сбудется его завѣтное желаніе поѣхать въ Англію, чтобы тамъ сдѣлаться морякомъ. Не имѣя возможности выполнить это теперь въ Россіи, онъ стремился въ Англію. Въ своей записной книжкѣ, онъ копировалъ съ англійскаго атласа всѣ большія военныя судна и перочиннымъ ножикомъ мастерски вытачивалъ ихъ изъ куска подѣла, соблюдая всѣ пропорціи. Засыпая, онъ грезилъ себя безстрашнымъ морякомъ на громадномъ, какъ домъ, океанскомъ суднѣ, плавно врѣзывающимся въ упругую голубовато-зеленую поверхность безбрежнаго воднаго пространства.

— Господи, помоги, чтобы я былъ морякомъ! — совсѣмъ засыпая шептала мальчикъ.

Утромъ, выпивъ на скорую руку чай безъ сахару съ небольшимъ ломтикомъ чернаго хлѣба, Вероника подумала о томъ, что пока свѣтло и въ комнатѣ не остыло тепло отъ топившейся переносной печки, она сможетъ, примостившись поближе къ окну, немного порисовать. Стремясь сохранить

вокругъ себя красоту, она не хотѣла, подобно большей части обывателей Петрограда, переселиться за неимѣніемъ топлива въ кухню. Закрывъ всѣ комнаты, она устроилась въ завѣшенной коврами и толстыми портьерами гостиной, въ которой былъ отгороженъ уголокъ для брата.

Запасовъ дровъ, за рѣдкимъ исключеніемъ, ни у кого, кромѣ коммунистовъ, не было. Всѣ предвидѣли страшную зиму. Вероника отгоняла эти мысли, зная, что предотвратить неминуемый холодъ въ квартирѣ было невозможно.

Проработавъ больше двухъ часовъ, она почувствовала, что ея пальцы начинаютъ стынуть отъ холода.

Небольшое полотно, уставленное на складномъ мольбертѣ, блистало свѣжими красками. На немъ съ изумительной простотой и яркостью изображенъ былъ опадающій желтый листъ рѣдѣющаго лѣса. На подоконникѣ лежала палитра, ящикъ съ красками и кисти. Рисовать было неудобно въ тѣсномъ закулкѣ позади рояля, но Вероника легко примирялась съ подобнаго рода неудобствами. Отложивъ кисть и растирая, и согрѣвая дыханіемъ озябшіе пальцы, она съ удовольствіемъ смотрѣла на свою еще недоконченную работу, забывъ и то, что въ домѣ не было денегъ, и то, что дровецъ для печки оставалось на три дня, и что наступаютъ бѣды... Все это улетучилось, какъ будто спряталось подъ какимъ то колакомъ; въ сознаніи художницы отражалась лишь жизнь фантазіи.

— Мой милый лѣсъ, ты хорошъ... очень хорошъ... отъ тебя пахнетъ мокрымъ желтымъ листомъ... и землей сырой тоже пахнетъ... — шурясь на картинку шептала Вероника. И вдругъ она вспомнила, что въ воображеніи своемъ она видѣла именно такой лѣсъ въ ту минуту, когда Князь Сергѣй Суровъ, сидя у нея въ кабинетѣ, обстоятельно доказывалъ ей, что на охотѣ, при видѣ увядшаго лѣса, ему пришла въ голову мысль объясниться съ ней.

— Какъ это было давно, — подумала она. — Давно, и въ то же время всего три года тому назадъ. Вонъ въ томъ кабинетѣ, теперь насквозь промерзшемъ и неуютномъ... Гдѣ же теперь князь Сергѣй? А Олегъ? Милый, свѣтлый чело-вѣкъ, — гдѣ-то онъ? Чувствую, что помнить и любить, и ждать меня. А я? Да, и я помню и жду его и, кажется, тоже люблю...

Въ воображеніи художницы всплыли образы и картины минувшаго. Ей вспомнилась ея послѣдняя, неожиданная встрѣча съ княземъ Сергѣемъ въ Кіевѣ прошлой зимой 1918 года во время гетмана Скоропадскаго. Пріѣхавъ съ Допа, гдѣ онъ видѣлся съ Сазоновымъ, дипломатическій умъ котораго уважался Европой, Сергѣй Суровъ былъ тогда въ са-

момъ повышенномъ настроеніи: Саоновъ обѣщалъ ему командировку въ январѣ 1919 года въ Парижъ на мирную конференцію. Онъ надѣялся къ тому же сроку продать за нѣсколько милліоновъ свое громадное имѣніе, находившееся въ тотъ моментъ въ зонѣ, оккупированной нѣмцами.

— Начинается интереснѣйшее время, — говорилъ тогда Сергѣй Суровъ, — и я попаду въ самую гущу политическихъ и дипломатическихъ заговоровъ. Продамъ имѣніе, уѣду отсюда Крезомъ и буду участникомъ въ строительствѣ той наковальни, на которой выкуется будущее Россіи. О, за Россію я спокоенъ. Большевизмъ скоро уступитъ мѣсто чистому социалистическому строю... Я чувствую, что близится та высокая ступень моей лѣстницы, на которую надлежало мнѣ взойти. Я чувствую такой приливъ силъ, какъ никогда.

Вероника съ интересомъ слѣдила тогда за громаднымъ подъемомъ Сурова, вылившемся изнутри необычайнымъ блескомъ глазъ и яркостью рѣчи.

— Какъ жаль, что я уже не люблю его, — думала она тогда. Отъ него она узнала, что брать его на Дону, но гдѣ именно, онъ не зналъ.

Никто не предполагалъ тогда, что не пройдетъ и недѣли послѣ этой встрѣчи, какъ опять все перевернется въ политикѣ Россіи *). Скоропадскій бѣжалъ изъ Кіева, уступивъ мѣсто Петлюрѣ, въ самый короткій срокъ подготовившему приходъ большевиковъ. Изъ Кіева началось паническое массовое бѣгство: бѣжали въ Варшаву, въ Берлинъ и въ Одессу, гдѣ тогда были представители Антанты. Кіевъ опустѣлъ. Суровъ куда то исчезъ, и съ тѣхъ поръ Вероника ни о немъ, ни объ Олэгѣ ничего не слышала, такъ какъ Петроградъ былъ совершенно изолированъ отъ всякихъ вѣшнихъ вѣстей и былъ освѣдомленъ лишь о томъ, о чемъ въ минимальныхъ дозахъ сообщалось, а больше измышлялось советскими газетами.

Всѣ эти воспоминанія быстро промелькнули въ умѣ художницы въ то время, какъ она, стоя передъ мольбертомъ, смотрѣла на почти законченную картину осеннего лѣса.

Сложивъ кисти и краски, она собиралась было выйти, какъ раздался стукъ въ наружную дверь. Во всѣхъ квартирахъ вмѣсто звонковъ приходилось прибѣгать къ стуку, такъ какъ всѣ звонки давно были перепорчены.

Передъ открывшей дверь Вероникой стояла съ взволнованнымъ лицомъ Вѣра Илларионовна.

— Вы одиѣ, дорогая? Я на минутку. Оставила малютку со старушкой-жилицей... Я очень спѣшу.

*) Германія была побѣждена, Вильгельмъ — низложенъ со своего величественнаго трона и высланъ за предѣлы Германіи.

— Что случилось? Вы встревожены?

— Да, очень. — Михайловская, не снимая шубки, опустилась на диванъ. — Бѣлые отступаютъ. Вы это знаете?

— Что такое?! Какъ отступаютъ?! Ихъ сегодня сюда ждали.

— Родзянко уходитъ изъ Царскаго. У нихъ какъ оказалось въ дѣлѣ наступленія что то сорвалось. Тылъ не укрѣпленъ. Николенъка остался въ Царскомъ. Вы меня понимаете?!

— Ушелъ съ ними вмѣстѣ?...

— Ради Бога тише... Мы совѣмъ одни?

— Конечно.

— Да, онъ ушелъ, то есть, я надѣюсь, я вѣрю, что ему это удалось. Все это случилось такъ неожиданно. Вы вѣдь знаете, что мы были все время какъ на угольяхъ. Послеъ его ареста можно было ожидать чего угодно. Мы понимали, что хоть его выпустили, но за нимъ слѣдить и, конечно, опять схватятъ, какъ бывшаго кадета. Нами давно было рѣшено, что при первой же возможности онъ сбѣжитъ. У Николенъки были сношенія съ Родзянкой, — таинственнымъ тономъ говорила Вѣра Илларионовна. — Въ какомъ ужасѣ я жила все это время, я вамъ и передать не могу. Николенъка зналъ, что Родзянко началъ наступленіе, оттого заблаговременно и уѣхалъ въ Царское. Если бы я могла предположить, что бѣлые уйдутъ такъ скоро, конечно, и я съ малюткой поѣхала бы туда. Третьяго дня ночью Николенъка съ вѣрнымъ человекомъ прислалъ мнѣ записочку, что если уйдутъ, то и онъ долженъ съ ними уйти, такъ какъ сообщничество его, лавѣрное, будетъ открыто. Черезъ того же человека сегодня я узнала, что Родзянко отступаетъ и, значитъ, Николенъка ушелъ съ нимъ вмѣстѣ. И вотъ я осталась теперь одна. Когда-то свижусь съ нимъ? Господи, у меня такой хаосъ въ головѣ!.. Милая, на всякій случай спрячьте эти двѣ брилліантовые вещи. Мало ли что можетъ теперь быть!

— А у васъ никакихъ нѣтъ компрометирующихъ документовъ? Ради Бога, будьте осторожны; въ особенности теперь.

— О, ровно ничего нѣтъ. Уѣзжая въ Царское, Николенъка все съ собою взялъ. Въ этомъ отношеніи я спокойна: уликъ никакихъ. Брилліанты я прошу спрятать потому, что теперь я одна, прійдется изъ дому отлучаться, а эту старушку — новую квартирантку я все-таки мало знаю... Ахъ, какъ я встревожена! Помогите Господи, чтобы Николенъка благополучно исчезъ. Я ужъ какъ-нибудь перебуюсь тутъ съ малюткой.

— Если что-нибудь надо, пожалуйста, рассчитывайте на меня.

— Я знаю, знаю, что вы мой другъ, — съ увѣренностью отвѣтила Михайловская. — Побѣгу домой. Навѣстите меня завтра. Этотъ человѣкъ сказалъ мнѣ сегодня, что съ отрядомъ Родзянки уходятъ очень многіе. Помогите имъ, Господи,

III

Довѣренный человѣкъ, черезъ котораго Михайловскій увѣдомилъ жену о своемъ бѣгствѣ съ отрядомъ Родзянки, принималъ дѣятельное участіе въ контрреволюціонномъ заговорѣ седьмой арміи. Выполняя просьбу Михайловскаго, онъ изрѣдка и очень осторожно навѣщалъ его жену и ребенка. Его предали, за нимъ была установлена тщательная слѣжка, и всѣ, съ кѣмъ онъ имѣлъ сношеніе, были поголовно арестованы.

Былъ мягкій ноябрьскій морозный вечеръ, когда тяжелый грузовикъ, быстро промчавшись по свѣже выпавшему снѣгу, искрившемуся подъ рѣдкими электрическими фонарями, тяжело грохоча подъ аркой на Гороховой № 2, вѣхалъ во дворъ и остановился у крыльца, подлѣ котораго были сложены большія вязки дровъ. Держась за бортъ грузовика, съ трудомъ ступая на скользкій край колеса, одинъ за другимъ сошли на землю арестованные. Ихъ окружили вооруженные люди и быстро повели по лѣстницѣ, въ прежнее время служившей чернымъ ходомъ градоначальства. Большой ногами, дряхлѣющій старикъ, непонятно почему попавшій въ число арестованныхъ, съ трудомъ поспѣвалъ за молчаливой толпой блѣдныхъ перепуганныхъ людей.

Вѣра Илларионовна была въ состояніи полного оупушенія. Арестъ ея произошелъ съ такой быстротой, что она до сихъ поръ не могла прійти въ себя. Не чувствуя за собой никакой вины, она была увѣрена, что арестована по недоразумѣнію и что, переговоривъ со слѣдователемъ, которому она докажетъ свою полную непричастность къ какимъ бы то ни было политическимъ дѣламъ, она будетъ освобождена; но въ то же время она хорошо знала, что тюрьмы были полны заключенными, изъ которыхъ большая часть не знала за собой никакой вины. Сильная духомъ, она ничего для себя не боялась, но мысль о малюткѣ, котораго, не смотря на всѣ ея протесты, просьбы и мольбы, ей не позволили взять съ собой, приводила ее въ состояніе того тупого отчаянія, когда мысли останавливаются въ помертвѣломъ мозгу, словно придавленные чьей-то тяжелой, какъ свинецъ, беспощадной рукой. Она успѣла

попросить старушку-жилицу немедленно отнести малютку къ Вероникѣ, не подозрѣвая, что полугодовалый ребенокъ, вслѣдъ за ней, былъ арестованъ и отвезенъ въ другую тюрьму. Её терзало безпокойство, что Вероника не знаетъ, всѣхъ условій искусственнаго питанія, что она не сумѣетъ добыть молока, что у дитяти не въ порядкѣ желудокъ, что старуха, не достаточно укутавъ, можетъ простудить его, что онъ будетъ плакать, не видя подлѣ себя матери. Всѣ эти мысли нависли надъ ней, какъ неподвижныя свинцовыя тучи. Сердце матери разрывалось отъ страха, хорошо ли будетъ присмотрѣно ея дитя въ обстановкѣ, которую такъ трудно было въ настоящее время приспособить для ухода за ребенкомъ.

Пройдя безконечный рядъ угрюмыхъ сводчатыхъ корридоровъ, то подымаясь, то спускаясь по лѣстницамъ, арестованныхъ ввели въ маленькую комнату, биткомъ набитую сидѣвшей и стоявшей въ ней публикой, арестованной съ утра, а частью еще и наканунѣ. На дверяхъ камеры стояла цифра девять. Комната была ярко освѣщена висячими, спускавшимися съ потолка лампами надъ двумя длинными столами, отгороженными деревянной рѣшеткой отъ остальной части комнаты. За столомъ сидѣли двое людей, типа прежнихъ околodочныхъ. Они молча, безучастно посмотрѣли на вновь прибывшихъ и продолжали свое дѣло: одинъ заполнялъ какіе-то бланки, другой — рыбой, съ тонкимъ носомъ, острыми глазами и прямыми, длинно отпущенными волосами, медлительный и методичный въ каждомъ движеніи, поминутно сусля палецъ, считалъ лежавшія подлѣ него на столѣ толстыя пачки денегъ.

Въ комнатѣ стояла духота. У полуоткрытой двери, ведущей въ корридоръ, сидѣли въ сонныхъ развалившихся позахъ часовые съ винтовками. Изъ-за двери былъ видѣнъ такой же часовой въ громадной папахѣ, съ папиросой въ зубахъ, сидѣвшій напротивъ у стѣны корридора.

— Скажите пожалуйста, насъ сегодня будетъ допрашивать слѣдователь? — обратилась къ сидѣвшимъ у стола людямъ арестованная барышня, съ большими свѣтлыми выпуклыми глазами.

— Если придетъ сегодня, то и будетъ допрашивать, — флегматично отвѣтилъ рыбой, считавшій деньги.

— А онъ когда является сюда?

— Разно бываетъ.

— Значить, допросъ сегодня — это не навѣрное?

— Ничего про это сказать нельзя.

— Мнѣ сказали при арестѣ, что меня сейчасъ допросятъ и выпустятъ. У меня дома ничего не знаютъ. Я попала, очевидно, по ошибкѣ, — волнуясь говорила барышня.

— Тамъ видно будетъ. Всѣ вы по ошибкѣ, а тамъ,

гляди, другое выходить. Ладно! Всѣхъ разберутъ. Заполните анкетные листы. Антоновъ... Кто тутъ Антоновъ? Выдайте всѣ деньги и документы, какіе при себѣ имѣются, и заполните этотъ бланкъ.

По имѣющемуся у него списку, рядой одного за другимъ подзываетъ арестованныхъ къ высокой конторкѣ, стоявшей у рѣшетки передъ его столомъ, отнимала деньги и документы и давала бланкъ для заполнения.

Вѣра Илларионовна машинально заполнила такой бланкъ, гдѣ въ столбцѣ стояли вопросы: имя, отчество, фамилія, лѣта, замужнія, дѣвица, вѣроисповѣданіе, мѣсто рожденія, адресъ и т. д., отдела консулекъ, въ которомъ было около пятисотъ рублей советскими деньгами и паспорть.

На деревянномъ диванѣ, на которомъ плотно скучившись сидѣло нѣсколько человекъ, потѣшился, чтобы дать ей мѣсто, моложавой паружности господинъ, все время сидѣвшій съ запрокинутой на спинку дивана головой и закрытыми глазами. Онъ, какъ и всѣ, сидѣлъ въ тепломъ пальто. На ногахъ были теплыя галоши, на шеѣ бѣлое шерстяное кашне.

— Если не ошибаюсь, вы — Вѣра Илларионовна Быст... — онъ не договорилъ, вспомнивъ, что эту фамилію не слѣдовало произносить вслухъ, да еще въ такомъ учрежденіи.

Вѣра Илларионовна повернула голову въ сторону говорившаго: его блѣдное, усталое лицо показалось ей незнакомымъ.

— Да, но теперь моя фамилія Михайловская.

— Извинюсь. Вы не узнаете меня? Впрочемъ, столько воды утекло за эти три года, что неудивительно забыть всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался. Я бывалъ въ вашемъ домѣ, когда вы жили съ вашимъ братомъ. — Онъ называлъ себя.

— Теперь я узнала васъ. Вы такъ похудѣли и имѣете такой изнуренный видъ...

— Еще бы! Къ тому же я сижу вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ уже ровно двое сутокъ. Какъ видите, — такъ и сижу. Никуда меня не отправляютъ, никто не допрашиваетъ, сижу, какъ идіотъ, и не могу додуматься причины моего ареста.

— Васъ дома арестовали?

— Ничего подобного. Пошелъ къ пріятелю на Милліонную. На лѣстницѣ была тьма кромѣшная. Ошибся этажемъ, постучалъ не въ ту дверь, мнѣ открыли ее, захлопнули за мной и, не смотря на всѣ мои протесты, препроводили сюда. Когда меня привели, то вонъ тѣ двѣ дамы и молодой человекъ уже были здѣсь. Хороши у нихъ порядки! Приходится молчать: никакіе протесты ни къ чему не приводятъ. А вы какъ сюда попали? За что?

— Я не знаю. Пришли ко мнѣ, сдѣлали самый тщательный обыскъ, ничего не нашли и арестовали.

— А вашъ супругъ?

— Опъ уѣхалъ, его здѣсь нѣтъ.

— Это большое счастье. Жаль, что вы не послѣдовали за нимъ.

Распахнулась дверь, и стриженная дѣвица въ сѣромъ шерстяномъ сукотѣ, окинувъ презрительнымъ взглядомъ комнату, громко выкрикнула:

— Въ камеру номеръ семь!

Часовой поднялся съ мѣста.

— Идите по двое, — обратился онъ къ арестованнымъ.

Вѣра Пилларіоновна вышла вмѣстѣ съ молодымъ, въ военной формѣ, господиномъ. Ихъ привели въ конецъ коридора въ комнату, на дверяхъ которой стояла большая черная цифра семь. Въ этой комнатѣ, тоже ярко освѣщенной, стояло нѣсколько столовъ; за каждымъ изъ нихъ сидѣли служащіе мужчины и дѣвицы и что-то писали. Подали для заполнения анкетные листы вродѣ предыдущихъ. Заполнивъ ихъ, вернулись обратно въ камеру номеръ девять.

Едва Вѣра Пилларіоновна опустилась на свободный стулъ, стоявшій въ глубинѣ комнаты подлѣ печки, какъ почувствовала, что кто-то осторожно трогаетъ ее за плечо. Она обернулась: за ея спиной сидѣла молодая брюнетка, съ лихорадочно горѣвшими глазами:

— Скажите пожалуйста, вы знаете за что арестованы? — быстрымъ шопотомъ заговорила она.

— Совсѣмъ не знаю и не чувствую за собой никакой вины.

— Въ такомъ случаѣ шансы есть, что васъ выпустятъ. У меня — никакихъ. Слушайте скорѣе и, ради Бога, запомните: я и мужъ арестованы по дѣлу седьмой арміи; наша фамилія — Люндеквистъ. Намъ грозитъ все самое худшее. Если васъ на дняхъ выпустятъ, то, пожалуйста, пойдите на Преображенскую улицу, домъ одиннадцать, тамъ есть швейцариха Аннушка, вызовите ее и скажите, что я умоляю ее пойти на Надеждинскую и сказать тамъ, чтобы сестра милосердія уничтожила все, что спрятали въ желтой картонкѣ. Вы запомнили? Ради Бога!... — Все это было сказано быстрымъ отчетливымъ шопотомъ. — Преображенская девять, швейцариха Аннушка... она все пойметъ и исполнитъ; вы только скажите ей...

— Я съ удовольствіемъ выполняю ваше порученіе, если только меня выпустятъ, — беззвучно проговорила Михайловская.

Часъ проходилъ за часомъ, и никакого измѣненія въ участіи арестованныхъ не предпринималось. Было томительно душно. Изъ коридора то и дѣло шмыгали черезъ комнату

какія-то развязныя стриженныя дѣвицы и захлопывали за собой дверь. Терпѣливый часовой, сидѣвшій неподалеку отъ двери, лѣнливо перегибался всѣмъ туловищемъ и каждый разъ опять пріоткрывалъ ее. Было за полночь, когда ввели еще новую партію арестованныхъ. Между ними оказались знакомые тѣхъ, кто прибылъ раньше. Начали между собой тихонько переговариваться, опять заполнять анкеты, отдавать документы и деньги.

Вѣра Илларионовна, съ опущенными на колѣняхъ руками, сидѣла неподвижно все на томъ же стулѣ. Хотя она видѣла все, что вокругъ нея происходило, но сознаніе ея не проникалось этимъ. Все разрастающаяся тоска заполняла ея душу. Сердце рвалось къ брошенному дитяти. До отчаянія, до боли хотѣлось прижать къ груди маленькое тѣлце, склонить надъ нимъ измученную мыслями голову и такъ забыться, уйти въ сознаніе его близости.

Было далеко за полночь, но не смотря на поздніе часы ночи, жизнь кипѣла въ страшномъ учрежденіи, гдѣ каждый день рѣшалась скорбная участь безконечнаго количества людей, гдѣ томились мѣсяцами въ одиночныхъ закуткахъ иш въ чемъ неповинные люди, гдѣ ихъ допрашивали, мучили и разстрѣливали.

Въ комнатѣ номеръ девять набилось человѣкъ до сорока. Нѣкоторые шопотомъ переговаривались, стоя въ тѣсной кучкѣ, нѣкоторые дремали, сидя въ неудобныхъ позахъ на стульяхъ и скамьяхъ.

— Долго ли намъ прійдется этакъ сидѣть здѣсь? — раздался чей-то нетерпѣливо-ворчливый голосъ.

— Не бѣда, — посидите. Чего вамъ не терпится? — отвѣтилъ сидѣвшій за столомъ рябоватый человѣкъ, считавшій вначалѣ пачки денегъ. Видъ у него былъ очень увѣреннаго въ своемъ начальствующемъ положеніи человѣка. Своими степенно-неторопливыми движеніями онъ какъ будто бы подчеркивалъ важность своей должности, говорилъ мужицкимъ разговоромъ, съ сильнымъ удареніемъ на „о“ и весь былъ преисполненъ начальственнаго авторитета.

— Для чего же морить насъ здѣсь? — продолжалъ ворчать господинъ въ полубубкѣ, съ усталымъ заспаннымъ лицомъ.

— Морить васъ? — ухмыльнулся рябой, и все лицо его скривилось въ насмѣливо-презрительную гримасу. — Мало васъ морятъ. Вы благодарите еще, что тутъ сидите; потому — ничего ровно не стоитъ, какъ сейчасъ всѣхъ васъ перестрѣлять. А мы вотъ изъ-за васъ ночи тутъ не спимъ, возимся съ вами.

— Почему же не перестрѣляете? Это было бы проще,

— отозвался молодой человѣкъ въ военной формѣ, съ блестящими черными глазами и свѣжимъ румянымъ лицомъ.

— Почему?! Почему?! — вдругъ весь вскипятился рябой и, въ порывѣ возбужденія, даже всталъ. — А потому, что народъ еще мало сознательнъ: кабы былъ вполне, значить, сознательнъ, такъ все ваше сословіе „уничтожилъ“ бы, потому сословіе ваше совсѣмъ даже бесполезное и народу во вредъ.

— Про какое это сословіе вы говорите? Кого вы хотите уничтожить? — Невозмутимо, вполнеоборотъ глядя на вскипѣвшего рябого, спросилъ молодой человѣкъ въ военной формѣ.

— А вотъ всѣхъ васъ „буржуевъ“ и „антилигентовъ“.

— А кто же будетъ тогда строить вамъ мосты, дома, желѣзныя дороги, книжки писать, учительствовать?

— Не надоть намъ эфтого, совсѣмъ не надоть; сами все сдѣлаемъ, коли понадобится.

— Да вѣдь вы не умѣете?

— Ладно, сумѣемъ, а васъ намъ не надоть. Дайте срокъ, все равно всѣхъ васъ „уничтожимъ“, потому вы мѣшаете народу жить. Народъ коли повздорить, такъ промежь себя это будетъ, самъ, значить, и помирится, а ваше сословіе совершенно для насъ лишнее.

— Вы говорите лишнее, а ваши вожаки Ленинъ и Троцкій все время призываютъ насъ къ совмѣстной работѣ.

— Хоша и призываютъ, но въ эфтомъ мы съ ними не согласны. Ленинъ не богъ: тоже, значить, ошибаться можетъ. Ваше сословіе только для себя, а не для народа; а ежели, значить, народъ понялъ это и возсталъ и скинулъ васъ со своихъ плечъ, такъ такъ тому и быть: долой васъ, съ земли сотремъ. И будетъ это, говорю — будетъ! — Въ гнѣвномъ азартѣ, рябой тыкалъ корявымъ пальцемъ по столу, глядя злобными глазами на истомленныхъ долгимъ сидѣніемъ, въ теплой верхней одеждѣ, голодныхъ, тоскующихъ людей.

— Каждый капиталистъ — это, значить, преступникъ. По Марксу выходитъ, что рабочій человѣкъ... — вмѣшался въ разговоръ молчавшій до тѣхъ поръ другой служащій и съ мѣста понесъ такую чепуху и нелѣпицу, коверкая и бессмысленно употребляя нахватаанныя, пущенныя въ широкій обиходъ иностранныя слова, что ничего невозможно было понять въ этомъ пестромъ наборѣ словъ.

Молодой человѣкъ собрался отвѣчать ему, но изъ группы дремавшихъ послышался чей-то впушительный голосъ:

— Оставьте, охота вамъ спорить? Развѣ вы докажете?! пусть говорятъ, что хотятъ.

— Тутъ доказывать нечего, потому назадъ не повернуть вамъ, — насмѣшливо проговорилъ рябой, сѣлъ и началъ расправлять долгимъ медлительнымъ движеніемъ своего

коряваго пальца совершенно гладкіе края листа бумаги, на которой собирався писать. Рѣшивъ, что гладкій листъ сталъ достаточно ровень, онъ, съ такой же медлительностью, осторожно обмокнулъ перо въ чернильницу, вытеръ о волосы, еще разъ обмокнулъ и, долго нацѣливаясь, наконецъ, началъ медленно выводить буквы.

Вѣра Илларионовна продолжала неподвижно сидѣть, съ опущеннымъ къ полу взглагомъ. Она ничего не слышала и никого не видѣла: передъ ея глазами неотступно стоялъ образъ ея дитяти, завернутаго въ бѣлыя пеленки, чистаго, аккуратнаго, съ хорошенькимъ личикомъ, съ свѣтлыми волосками, такого дорогого, такого близкаго ея сердцу и ея плоти, какъ ничто въ мірѣ. Она какъ на яву слышала тихій жалобный плачь — „ма... ма... ма“, — это „ма“ первый сознательный звукъ, связывающій до гроба сердце ребенка съ сердцемъ матери. Въ нѣмой тоскѣ Вѣра Илларионовна до боли сжимала на кѣтняхъ руки.

О, скорѣй бы допросъ, чтобы она могла сказать, доказать свою невиновность и умолить отпустить ее къ брошенному ребенку!

Въ четыре часа ночи вошелъ какой-то коренастый чужовѣкъ и, ни на кого не глядя, скомандовалъ, обращаясь къ часовымъ:

— На верхъ.

Всѣ встрепенулись, встали со своихъ мѣстъ, разминная затекшія ноги.

Арестованныхъ, сопровождаемыхъ солдатами съ винтовками, повели опять по какимъ-то корридорамъ, въ которыхъ подлѣ комнатъ съ номерами на дверяхъ, сидѣли часовые. Всюду горѣли яркія электрическія лампы, быстро двигались служащіе, черезъ полуоткрытыя двери мелькали такіе же усталые, сбитые въ кучу люди, съ выраженіемъ тоски и испуга въ глазахъ.

Пройдя нѣсколько корридоровъ, арестованныхъ ввели въ обширную комнату съ двумя громадными письменными столами, шкафами и диванами у стѣнъ. Вошли трое. Одинъ изъ нихъ небольшого роста, во френчѣ, съ рѣзкими порывистыми движеніями, былъ комендантъ. Онъ сдѣлалъ по имѣвшимся у него спискамъ переключку приведенныхъ и, съ помощью двоихъ агентовъ, принялся за обыскъ. Обыскъ производился грубо, съ окриками, съ унижительными замѣчаніями: изъ рукъ выхватывалась просимая оставить при себѣ вещь въ видѣ карандаша, крошечнаго медальона или спичечницы.

Старикъ съ больными ногами, вытанивший изъ своего кармана сбитый комокъ съ веревочками, ни за что не хотѣлъ растаться съ ними, увѣряя, что въ тюрьмѣ веревочка приго-

дятся. Комендантъ грубо вырвалъ веревки изъ рукъ старика и зашвырнулъ ихъ черезъ всю комнату.

— Что вы время отнимаете! — Закричалъ онъ. — Къ черту эти ваши глупости!

— Вамъ глупости, а намъ въ тюрьмѣ веревочки нужны, — спокойно возразилъ старикъ. — Мнѣ не въ первый разъ: при Николаѣ три года высидѣлъ, какъ политическій..., сидѣлъ для народа, а теперь народъ посадилъ, — усмѣхнулся старикъ, оглядываясь на присутствовавшихъ.

— Позвать женщинъ для обыска, — отрывисто командовалъ въ сторону часовыхъ комендантъ.

Пришли двѣ дѣвицы. Одна изъ нихъ была все время шмыгавшая черезъ комнату № 9, грубо отвѣчавшая на задаваемые ей арестованными вопросы.

Вошли въ комнату, тѣсно заставленную кожанымъ громоздкимъ диваномъ, такими же креслами и двумя красного дерева столами.

Высокая, худая, вся заплаканная дѣвушка опустилаcя на кресло и стала глухо рыдать.

— Не плачьте... не надо этого... не поможетъ... — кладя ей руку на плечо, проговорила Михайловская.

— Мама... мама совсѣмъ одна осталась... больная... безъ помощи... Господи, Господи, за что это? Мама не вынесетъ этого горя... — рыдая говорила дѣвушка.

— Молитесь, Господь дастъ силы пережить и ей, и вамъ.

— Давайте все, что у васъ есть, — обратилась къ Вѣрѣ Илларионовѣ одна изъ обыскивавшихъ. Михайловская сняла съ руки золотые часы въ видѣ браслета и посмотрѣла въ лицо дѣвушкѣ. Глаза ихъ встрѣтились. Во взглядѣ добрыхъ карихъ, полныхъ скорби глазъ Вѣры Илларионовны дѣвушка прочла что-то, что смутило ее. Она опустила глаза.

Есть еще что-нибудь? — какъ бы нехотя спросила она.

— Да ты что спрашиваешь то? Выворачивай сама всѣ карманы, — грубо обратилась къ ней разбитная дѣвица, съ непріятнымъ наглымъ лицомъ и сильно подкрашенными губами.

— Пожалуйста, оставьте это мнѣ... это моего ребенка... Это я не могу отдать... Прошу васъ... — вынувъ изъ кармана маленькую серебряную ложечку, съ поблѣднѣвшими отъ волненія губами, проговорила Михайловская.

— А еще что есть?

— Больше ничего у меня нѣтъ.

Дѣвушка молча отвернулась, оставивъ ложечку въ рукахъ Михайловской. Вѣра Илларионовна незамѣтно сняла съ пальца единственное кольцо и сунула его въ руку дѣвушки. Та вспыхнула, сдѣлала движеніе, чтобы возвратить его, но Михайловская отошла, опустилаcя въ кресло и, закрывъ глаза,

прижала къ сердцу маленькую ложечку, изъ которой ея дитя кушало кашку.

Послѣ обыска и вторичной переклички, опять повели по корридорамъ и лѣстницамъ. Неперестававшая плакать дѣвушка взяла Михайловскую подъ руку и шла, тѣсно прижавшись къ ней. Пройдя громаднй vestibule, въ которомъ у стѣны стояло чучело большого медвѣдя, потомъ обширную, отдѣланную подъ орѣхъ, столовую, женщинъ отдѣлили отъ мужчинъ, завернули какими-то узкими корридорами, поднялись по витой лѣстницѣ, прошли комнату, въ которой стоялъ большой катокъ для бѣлья и, поднявшись на нѣсколько ступенекъ, вошли въ крошечную кухню, на дверяхъ которой стоялъ номеръ 95. Подлѣ окна на лавкѣ, положивъ головы на облокоченныя о столъ руки, дремали двое часовыхъ.

Передъ арестованными открылась вторая дверца съ вырѣзаннымъ квадратомъ. Онѣ вошли въ полутемную узкую комнату, слабо освѣщенную спускавшейся съ потолка лампой, завернутой въ коричневый лоскутокъ. На сдвинутыхъ койкахъ тѣсно спали женщины: нѣкоторыя подъ одеялами, другія — одѣтыя. На встрѣчу вошедшимъ поднялась съ отдѣльно стоявшей въ углу койки высокая, стройная лѣжная блондинка въ бѣломъ халатикѣ, съ большими печальными свѣтлыми глазами, необыкновенно кроткимъ лицомъ и благородными тихими движеніями. Это была „староста“ камеры. Она шопотомъ спросила фамиліи пришедшихъ и записала ихъ въ какую-то книгу.

— Такъ много за эти три дня прибыло арестованныхъ, что совсѣмъ мѣста нѣтъ, — проговорила она. — Какъ-нибудь размѣстимся до утра, а тамъ посмотримъ.

Она осторожно разбудила нѣкоторыхъ дамъ, прося ихъ потѣсниться. Вѣру Илларионовну съ тремя, оставшимися безъ мѣста, провела черезъ двѣ крошечныхъ, переполненныхъ арестованными камеры, и ввела ихъ въ конурку безъ оконъ, гдѣ едва помѣщалась узкая желѣзная койка съ ободраннымъ грязнымъ тюфякомъ. Въ углу подлѣ койки стояла бочка съ водой, ведро и на табуреткѣ — ломаное корыто. Очевидно это было мѣсто для мытья. Не смотря на эту гнусную обстановку, арестованные были счастливы возможности остаться одинѣмъ, чтобы хоть какъ-нибудь подремать, облокотясь другъ о дружку.

Худая, высокая дѣвушка — Михельсонъ не переставала плакать. Вѣра Илларионовна, оперевъ голову о муфту, подложенную къ стѣнѣ, закрыла отяжелѣвшія усталыя вѣки.

— Кошмаръ это или дѣйствительность? — спрашивала она себя. — Отчего очутилась она въ этомъ грязномъ углу, съ запятнанными облупившимися стѣнами? Что это за люди,

оторвавшіе ее отъ дитяти? За что? По какому праву? Что сдѣлала она этимъ людямъ съ жестокими угрюмыми лицами? Противъ нихъ защиты нѣтъ. Они могутъ сдѣлать все, что захотятъ.

— Господи, Господи, услышь меня!.. — со всей вѣрой, со всей отчаянной мольбой измученной души начала она молиться. — Сдѣлай, Господи, такъ, чтобы лучше мы оба умерли, чѣмъ мучиться врозь, если они совсѣмъ отняли меня отъ дитяти. Сдѣлай, Господи!.. — Первые слезы смягченной молитвой души потекли изъ-подъ опущенныхъ вѣкъ. Въ усталой головѣ медленно тронулись застывшія мысли, смѣнили жизнь на грезу, и Вѣра Илларионовна до утра забылась сномъ.

III

Настало утро, и съ нимъ началась новая, бессмысленная жизнь, непонятная для всякаго чистаго и здороваго мозга. Семьдесятъ девять женщинъ, скученныхъ въ трехъ тѣсныхъ комнаткахъ, грубо оторванныхъ отъ своихъ семей и обязанностей, обреченныя на полное бездѣйствіе, голодныя, испуганныя и страдающія, сидѣли цѣлыми днями на койкахъ, безкопечное число разъ пересказывая другъ другу мучившія ихъ предположенія близкаго будущаго, подробности ареста или допроса, жаловались на свою судьбу или тихо одиноко плакали. Три раза въ день раздавалась скудная пища въ видѣ ломтика хлѣба или водянистой похлебки, которую приходилось, за неимѣніемъ посуды, ѣсть по нѣсколько человѣкъ изъ общей миски. Монотонныя тоскливыя часы ползли, какъ змѣи, готовые ежеминутно выпустить отравленное смертью страшное жало. Во всей атмосферѣ этой непонятной жизни висѣло что-то кошмарное, грязное, липкое, какъ запекшаяся кровь. Каждая минута была пропитана сознаніемъ, что впереди ждетъ что-то еще болѣе тяжкое, что гдѣ-то внизу или можетъ быть, совсѣмъ близко, рядомъ, томятся въ одиночкахъ люди, приговоренные къ разстрѣлу. Чуткое ухо съ ужасомъ прислушивалось въ ночные часы къ сухому отрывистому залпу ружей....

— Вы слышали?

— Да... навѣрное, это...

— Господи, еще кто-то погибъ... — проносился тихій дрожащій шопотъ.

Единственной радостью была передача вещей и пищи два раза въ недѣлю. Единственная осязаемая связь съ внѣшнимъ міромъ, съ міромъ родныхъ или друзей. Никакой пере-

писки, хотя бы самой краткой не допускалось. Скучная, однообразная передача въ видѣ ишенной каши, варенаго картофеля, лепешекъ изъ промерзлой капусты — доставляли голоднымъ большую радость.

Двое сутокъ Михайловская тщетно ожидала допроса у слѣдователя. Попавъ въ камеру, въ среду себѣ подобныхъ заключенныхъ, она сейчасъ-же поняла, что никакія просьбы и ходатайства не могутъ проникнуть изъ стѣнъ камеры: что надо собрать всѣ свои силы и ждать. Двое сутокъ показались ей нескончаемыми. На третій день она получила большой свертокъ съ подушкой, пледомъ и бѣльемъ, при чемъ наволочка оказалась съ мѣткой Вероники Кампиони, а вмѣсто второго полотенца была вложена пеленка дитяти. Этой пеленкой художница, предполагавшая, что мать знаетъ объ участи ребенка, хотѣла дать понять, что она хлопочетъ объ его освобожденіи. Михайловская поняла это иначе: какъ сообщеніе о благополучномъ пребываніи у нея дитяти. Приложивъ къ лицу пахнувшую мыломъ пеленку, мать разрыдалась тяжелыми слезами. Она силилась уловить въ запахѣ, выдѣлявшемся изъ маленькой простынки, хорошо знакомый ей любимой запахъ согрѣтаго чистаго тѣльца.

Стараясь заглушить непрестанно гнетущую боль сердца, Вѣра Илларионовна влилась во всѣ мелкія подробности тюремной жизни: по нѣскольку разъ въ день ходила съ партіей дамъ, сопровождаемыхъ конвойными, въ кухню за горячей водой или за картофельной шелухой, изъ которой старательно приготавлились лепешки на крошечной плитѣ, которую разрѣшалось топить дровами, принесенными со двора. Хожденіе за дровами одинъ разъ въ сутки производилось по очереди, такъ какъ замѣняло минутную прогулку, которой арестованные были лишены. Вѣра Илларионовна помогала растирать въ эмалированной мискѣ картофельную шелуху, растапливала печь, читала вслухъ Евангеліе, утѣшала, успокаивала плачущихъ, затаивъ свою личную скорбь и, привычная къ уходу за страждущими, сумѣла и въ этомъ домѣ скорби пайти нужныя слова для успокоенія. Всѣхъ сразу потянуло къ ней, и каждой хотѣлось видѣть на своей койкѣ ея крупную фигуру, съ осунувшимся лицомъ и ласково-глядящими карими глазами, окаймленными коричневой тѣнью безсонныхъ ночей и тайныхъ слезъ. Около полуночи на третьи сутки ее позвали къ допросу. Вызовъ къ слѣдователю обычно производилъ переполохъ: давались совѣты что говорить и чего не говорить, помогали надѣть пальто, такъ какъ приходилось идти по холоднымъ корридорамъ, успокаивали слишкомъ волновавшихся, поясняя, что вызовъ къ слѣдователю доказываетъ, что дѣло двинулось.

Выходя из камеры, Вѣра Илларионовна перекрестилась и, съ бьющимся сердцемъ, пошла рядомъ съ конвойнымъ. Передъ камерой слѣдователя ей пришлось долго ждать: по словамъ дежурившаго у двери часового, слѣдователь кого-то допрашивалъ. Передъ глазами Михайловской была уже знакомая ей картина камеръ съ номерами на дверяхъ, изъ которыхъ выходили и входили сопровождаемые конвойными всякаго сорта люди, съ выраженіемъ остановившагося испуга во взглядѣ.

Прислонясь къ стѣнѣ, Михайловская ждала, мысленно повторяя все однѣ и тѣ же приготовленныя фразы. Наконецъ, дверь изнутри открылась. Вышелъ тотъ самый старикъ, которому комендантъ не позволилъ взять съ собой веревочки.

Камера слѣдователя была большая. Въ ней было два стола, поставленныхъ на большомъ разстояніи одинъ отъ другого и освѣщенныхъ яркимъ свѣтомъ. Подлѣ одного, спиной къ двери, сидѣла дама, отрывистымъ взволнованнымъ голосомъ отвѣчавшая на задаваемые ей вопросы склоненнаго надъ листомъ бумаги слѣдователя. Другой столъ былъ пустъ. Михайловская подошла къ нему и только что опустилась на стулъ, какъ изъ сосѣдней комнаты вышелъ небольшого роста рыжеватый человѣкъ въ темно-коричневомъ френчѣ, съ угрюмымъ насупившимся лицомъ. Мелькомъ взглянувъ на Вѣру Илларионовну, онъ взялъ большой листъ бумаги и, что-то написавъ на немъ, обратился къ ней:

— Вѣра Илларионовна Михайловская?

— Да.

— Урожденная?

Вѣра Илларионовна запнулась.

— Быстрова, — сестра бывшаго министра? — подсказалъ, не глядя, слѣдователь.

— Вашъ мужъ? Гдѣ служилъ? До революціи? Послѣ революціи? Къ какой партіи принадлежалъ? — посыпались вопросы.

Такъ какъ Михайловскій былъ выпущенъ не такъ давно, то Вѣра Илларионовна поняла, что лгать было бесполезно.

— Гдѣ вашъ мужъ сейчасъ находится?

— Не знаю, онъ уѣхалъ.

— Куда?

— Хотѣлъ проѣхать въ Рязань, — наугадъ отвѣтила Михайловская.

— А проѣхалъ въ Царское и ушелъ съ отрядомъ Родзянки, — вскинулъ на нее глаза слѣдователь.

— Этого я не знаю.

— Вы это знаете, вамъ были доставлены свидѣнія. —
Слѣдователь назвалъ фамилію довѣреннаго лица.

У Михайловской захолоуло сердце. Она поняла, что ей вѣняется преступленіе бѣгства ея мужа, а, можетъ быть, и его сношеній съ Родзянко. Она рѣшила упорно отрицать это.

Допросъ длился около часу. Слѣдователь старался ловко выпытать все, касавшееся участія Михайловскаго въ наступленіи Родзянки, которое, очевидно, подозрѣвалось. Вѣра Илларионовна, понявъ ужасъ своего положенія, на все отвѣчала кратко и отрицательно.

— Могу ли я имѣть свѣдѣнія о моемъ ребенкѣ, оставленномъ на чужихъ рукахъ? Ему всего полгода... — чувствуя въ горлѣ подкатившійся нервный клубокъ, сдавленнымъ голосомъ обратилась она къ слѣдователю послѣ того, какъ онъ далъ ей подписать составленный протоколъ.

— Васъ переведутъ въ другую тюрьму, и тамъ будетъ разрѣшена переписка; здѣсь это не допускается, — сухо отвѣтилъ слѣдователь. — Вы можете идти, — добавилъ онъ и быстро вышелъ.

Вѣра Илларионовна вернулась въ камеру безъ кровинки въ лицѣ. Она почувствовала, какъ все ея существо было какъ будто опутано больно стягивавшимися на ней петлями, тннувшими ее въ темную, страшную яму. Вся камера съ тихо сидѣвшими на койкахъ, ожидавшими ея возвращенія женщинами, блѣдными, съ измученными взглядами, показалась ей въ эту минуту пророчившей что-то фатально грозное.

— Ну, что? Что выяснилось? — бросились къ ней арестованныя. Вѣра Илларионовна съ усиліемъ провела рукой вдоль лба, сжала виски и, тупо глядя въ одну точку, медленно проговорила;

— Очень скверно. Они знаютъ о бѣгствѣ мужа. Слѣдователь спрашивалъ объ его сношеніяхъ съ Родзянко.

— Вы отрицали, конечно?

— Да...

— Тихе, — быстрымъ шопотомъ бросила стоявшая подлѣ Михайловской дама, указывая взглядомъ на подошедшую миловидную молодую блондинку, уже полураздѣтую, съ распущенной густой косой. При ней боялись говорить, такъ какъ установилось мнѣніе, что она шпіонка, выговорившая этой цѣной смягченіе своей участи. Она сидѣла на Гороховой уже около года, что подтверждало догадку, такъ какъ арестованныхъ, по большей части, переводили въ другія тюрьмы послѣ нѣсколькихъ или даже одного допроса, въ которые выяснялось ихъ дѣло. Допросы у слѣдователя бывали рѣдки, ее же вызывали безпрестанно.

— Не падайте духомъ; весьма вѣроятно, что они ведутъ слѣдствіе лишь на однихъ предположеніяхъ и хотятъ выпытать у васъ, — утѣшали Михайловскую.

— Нѣтъ, я по всему вижу, что у нихъ есть какія-то нити. Мнѣ не выкарабкаться отсюда, я это ясно чувствую. Чтожъ, да будетъ воля Его... — Михайловская безнадежно опустила руки, сѣла на краю койки и застыла. Она видѣла передъ собой безконечную вереницу дней, недѣль и мѣсяцевъ въ тюрьмѣ; но не это ее пугало. Весь ужасъ заключался въ разлукѣ съ ребенкомъ.хлопотать о томъ, чтобы его дали ей въ тюрьму, было безразсудно, такъ какъ вскормить его въ голодныхъ мрачныхъ тюремныхъ стѣнахъ, не было никакой возможности. Слѣдовательно, — думала она, — ребенокъ долженъ остаться у Вероники. Она не сомнѣвалась, что художница окружить дитя полной заботой и уходомъ, но сознаніе это не облегчало ужаса разлуки, предвидѣть конецъ которой было невозможно.

Молча всѣ улеглись и завѣсили свѣтъ. Вѣра Илларионовна все еще сидѣла, вся сгорбившись, безъ слезъ, безъ жалобъ, застывшая въ величайшемъ горѣ — горѣ матери.

— Милая, ложитесь... — приподнялась съ подушки ея сосѣдка на узкой твердой койкѣ.

Вѣра Илларионовна, не раздвѣваясь, послушно легла.

— Господи, если и мнѣ и ему мука и страданіе, то пошли намъ смерть... — въ безмолвной молитвѣ шевелились блѣдныя похолодѣвшія губы.

Ночь прошла безъ сна. Настало тусклое утро. Поднялись со своихъ твердыхъ ложъ тихія молчаливыя женщины; молча одѣлись, молча пили горячую воду или, у кого было, чай. Не смотря на скученность, въ трехъ маленькихъ камерахъ всегда стояла тишина. Всѣ говорили вполголоса или шопотомъ, а больше молчали: кромѣ своего горя говорить было не о чемъ. Громко повторялись только однѣ и тѣ же фразы:

— Кто идетъ за дровами?... Кто хочетъ идти въ кухню за водой?... Пойдемте за шлухой... Кому надо въ уборную? Собиралось, согласно правилу, не болѣе четырехъ-пяти женщинъ и, въ сопровожденіи конвойнаго, иногда грубаго и циничнаго, иногда доброжелательнаго и участливаго, шли по холоднымъ каменнымъ корридорамъ въ отдаленную кухню или въ уборную, всю залитую отъ испорченнаго водопровода. Монотонный день тянулся безъ конца, безъ просвѣта. Въ небольшое окно, выходившее во дворъ, было видно, какъ вѣѣзжалъ изъ-подъ арки грузовикъ или автомобиль съ новыми арестованными. Изъ-за крыши дома вырисовывался грузной величавостью огромный куполъ Исаакіевского собора, съ бронзовыми статуями и золотымъ крестомъ, то ярко блиставшими подъ лучами зимняго солнца, то окутанные тонкой пеленой бѣлесоватаго тумана.

На слѣдующій день послѣ допроса Вѣру Илларионовну съ двумя другими арестованными повели около полуночи сниматься. Такъ какъ къ фотографу водили не всѣхъ, то это пугало и волновало, наводило на всякія угрожающія предположенія. Вѣра Илларионовна осталась совершенно безучастна къ этому факту.

При яркомъ, рѣжущемъ глаза, освѣщеніи фотографъ, помѣщавшійся далеко въ противоположномъ концѣ зданія, одно за другимъ сфотографировалъ истомленные, осунувшіяся, мало похожія на самихъ себя, лица.

Прошла недѣля, въ продолженіе которой все прибывали и прибывали арестованные. Нѣкоторые были выпущены. Разнесся слухъ, что большая партія на дняхъ будетъ отправлена въ Москву въ концентраціонный лагерь. Всѣ заволновались. Тѣ, у которыхъ въ Москвѣ были родные, были довольны, другія были въ отчаяніи. Вѣра Илларионовна рѣшила, что если ей не дадутъ свѣдѣній о ребенкѣ, то иначе, какъ силой, ее не увезутъ. Прошло еще три дня томительныхъ мучительнымъ ожиданіемъ. Ночью Михайловскую опять вызвали къ слѣдователю. Послѣ короткаго допроса, въ которомъ слѣдователь тщетно добивался уличить ее въ участіи наступленія бѣлыхъ, Вѣра Илларионовна, съ холодной рѣшимостью въ глазахъ, потерявшихъ свое обычное мягкое выраженіе, обратилась къ нему:

— Есть слухъ, что нѣкоторыхъ изъ насъ отправятъ въ Москву. Если я попаду въ ихъ число, и если до отъѣзда мнѣ не дадутъ свѣдѣній о моемъ брошенномъ ребенкѣ, то увезутъ меня только мертвой. Дѣлайте со мной, что вамъ угодно, но дайте мнѣ возможность знать, гдѣ мое дитя, чтобы уѣзжая, я могла бы дать нѣкоторыя указанія тому лицу, у котораго оно находится. Это право матери. Я сижу здѣсь, не имѣя никакой вины; тѣмъ болѣе вы должны исполнить мое законное требованіе.

Слѣдователь внимательно посмотрѣлъ въ лицо Михайловской и что-то обдумалъ:

— Что вы хотите знать? — сухо спросилъ онъ.

— Я хочу знать, гдѣ онъ и что съ нимъ?

— Вамъ будутъ даны желаемыя свѣдѣнія.

— Скоро? — у Михайловской забилося сердце.

— Черезъ сутки.

Черезъ сочувствующаго конвойнаго, провожавшаго Вѣру Илларионовну обратно въ камеру, она узнала, что дѣйствительно на дняхъ будетъ отправка въ Москву. Она рѣшила письменно просить Веронику Кампіони доставить ребенка въ Москву, гдѣ у нея была двоюродная сестра, которая, она знала навѣрное, сумѣетъ сохранить ея ребенка. Цѣнные брил-

ліанты, такъ своевременно переданные Вероникѣ на храненіе, облегчали вопросъ о расходахъ.

Въ эту ночь Вѣра Илларионовна, истомленная бессонными предыдущими ночами, спала довольно хорошо. Ей снился мужъ, о которомъ она всѣ эти дни думала мало, поглощенная мыслію о брошенномъ дитяти. Слѣдующій день прошелъ въ напряженномъ и тщетномъ ожиданіи. Къ ночи у нея сдѣлался сильный нервный припадокъ, выразившійся полнымъ онѣмѣніемъ конечностей и сердечнымъ замираніемъ. Казалось, что она умираетъ. Ее бережно уложили на отдѣльную койку и, какъ могли, отхаживали и успокаивали. Ночью она стонала, металась и громко бредила. Съ наступленіемъ утра ей стало лучше. Надежда получить извѣстіе породила притокъ силъ физическихъ и моральныхъ. Совершенно разбитая, она поднялась на ноги. Ей уступили очередь между идущими во дворъ за дровами, чтобы дать возможность подышать свѣжимъ воздухомъ. За десять дней, проведенныхъ въ тюрьмѣ, она измѣнилась до неузнаваемости: съ лица, всегда свѣжаго и оживленнаго, исчезли краски, глаза ввалились и потускнѣли, коричневые тѣни окружили ихъ; она сильно похудѣла и завяла. Десять мучительныхъ дней состарили на много лѣтъ.

Послѣ тюремнаго обѣда, неизмѣнно состоявшаго изъ жидкой мутной похлебки, Михайловская продолжала читать вслухъ Евангеліе. Всѣ сидѣли на койкахъ; кто съ иглой въ рукахъ, кто опустивъ на колѣни руки. Многія изъ слушавшихъ впервые вникали въ смыслъ простого и мудраго ученія о томъ, что надо дѣлать, чтобы обрѣсти высшее счастье на землѣ — полный покой духа.

„Приидите ко мнѣ вси труждающіеся и обремененніи и Азъ успокою вы,“ — прочла Вѣра Илларионовна. Голосъ ея задрожалъ, она опустила на колѣни Евангеліе и закрыла лицо руками. — Да, къ Нему, только къ Нему надо идти намъ всѣмъ, сидящимъ здѣсь, обремененнымъ скорбью, — думала она. — Онъ успокоитъ, Онъ утѣшитъ... — Слезы сквозь прижатые пальцы обильно закапали на листы Евангелія. Черезъ нѣсколько минутъ, она справилась съ собой, отерла слезы и продолжала чтеніе.

— Вѣра Михайловская здѣсь? — На порогѣ стоялъ часовой.

— Это я.

— Вотъ вамъ справка.

Дрожащими руками Михайловская схватила неопрятный, сложенный вдвое, помятый листокъ бумаги. Едва она начала читать, какъ лицо ея исказилось, глаза расширились и стали безумны, она схватилась за голову, грузно упала на колѣни

и, припавъ головой къ полу, протяжно, какъ раненый звѣрь, застонала. Всѣ бросились къ ней.

— Что такое?.. Что она прочла?.. Гдѣ справка? — растерянно спрашивали другъ друга женщины. Одна изъ нихъ подняла съ полу справку. Въ ней стояло: такого-то числа, арестованный по такому-то адресу ребенокъ Вѣры Михайловской былъ препровожденъ на Васильевскій островъ въ колонію малолѣтнихъ преступниковъ, гдѣ и скончался такого-то числа отъ дезинтеріи.

Съ большимъ трудомъ удалось Вѣру Илларионовну поднять съ полу, но заставить ее прійти въ себя не было никакой возможности: она продолжала жалобно и протяжно стонать, глядя передъ собой широко открытыми безумными, полными скорби глазами, изъ которыхъ медленно одна за другой скатывались неизсякаемыя слезы. Этотъ стонъ паче смерти раненаго сердца, заполняя собой всѣ углы угрюмой камеры, надрывалъ душу присутствовавшихъ. Послушная, какъ ребенокъ, Вѣра Илларионовна давала дѣлать съ собой что угодно; ее уложили, мочили голову холодной водой, — она все стонала тѣмъ же протяжнымъ глухимъ стономъ. Черезъ нѣсколько сутокъ стало ясно, что мозгъ ея помутился. Весь день она сидѣла на койкѣ и, не произнося ни слова, тихо покачиваясь изъ стороны въ сторону, все такъ же стонала, безучастная ко всему, что ее окружало.

Десяти женщинамъ, въ томъ числѣ и ей, былъ отданъ приказъ собрать свои вещи для отправки въ Москву. Она не слышала и не понимала, что ей говорили. Ее одѣли, собрали ея вещи и подъ руки вывели. Она шла, спотыкаясь и безпрестанно останавливаясь. Конвойные сперва грубо понукали ее, потомъ, узнавъ въ чемъ дѣло, слыша этотъ несмолкаемый, жалобный стонъ, освободивъ ее отъ вещей, помогали ей идти.

Такъ доѣхала она до Москвы, не замѣчая ужаснаго пятидневнаго переѣзда въ промерзлой теплушкѣ, въ грязи, въ холодѣ и въ голодѣ. Въ Москву пріѣхали совершенно безъ силъ; многія плакали, прося дать хоть какой-нибудь отдыхъ на вокзалѣ. Всѣ просьбы были тщетны: измученныхъ людей, навьюченныхъ узлами и чемоданчиками, погнали въ отдаленную, за нѣсколько верстъ отъ города, тюрьму.

Вѣра Илларионовна, вмѣстѣ съ партіей арестованныхъ, была препровождена въ Андроніевскій монастырь, преобразованный въ тюрьму. Окаменѣвшая въ своемъ горѣ, ко всему безучастная, совершенно постѣдѣвшая, она стала старухой, внушавшей всѣмъ глубокое сочувствіе. Ея мѣсто на нарахъ оказалось рядомъ съ женой бывшаго вліятельнаго бюрократа, съ которой она, во времена блестящей карьеры своего раз-

стрѣляннаго брата, была въ пріятельскихъ отношеніяхъ. На обрадованный возгласъ давнишней знакомой, Михайловская подняла тусклый взглядъ, очевидно, не узнавъ или забывъ ее, тотчасъ же опустила глаза, сѣла на указанное рядомъ мѣсто, сложила на колѣняхъ руки и затихла... Пріятельница принялась ухаживать за ней, какъ за ребенкомъ: она ее одѣвала, раздѣвала, причесывала, кормила и всѣми способами старалась оживить застывшій мозгъ, говоря ей о ея мужѣ, о погибшемъ братѣ и даже о ребенкѣ, но слова, какъ пустой, ничего незначившій звукъ, не проникали въ ея сознаніе.

Не взирая на протесты окружавшихъ, черезъ нѣсколько дней по прибытіи въ Московскую тюрьму, Вѣра Илларионовна была назначена администраціей тюрьмы стирать бѣлье больныхъ тифомъ. Съ безразличной ко всему покорностью, она съ утра до вечера гнула спину надъ грязнымъ корытомъ, какъ автоматъ, молча исполняя то, что ей приказывали. По окончаніи работы она возвращалась въ свою камеру съ опухшими отъ стирки пальцами, еще болѣе ослабѣвшая, съ изнуреннымъ лицомъ. Ее окружали, бережно укладывали на нары, поили чаемъ. Какъ послушное дитя, она давала себя раздѣть, пила чай, въ изнеможеніи опускала голову на подушку и засыпала, чтобы на слѣдующее утро опять стать къ корыту съ грязнымъ заразнымъ бѣльемъ, среди сгущенныхъ отвратительныхъ паровъ госпитальной тюремной прачешной. Такъ прошло около трехъ недѣль.

Однажды утромъ она не могла подняться съ наръ: у нея оказался сильный жаръ и всѣ признаки сыпного тифа. Ее перевели въ лазаретъ, гдѣ она одиноко и безмолвно лежала нѣсколько дней въ безпамятствѣ. За нѣсколько часовъ до смерти, среди глубокой ночи она открыла глаза, съ тяжкимъ вздохомъ обвела взглядомъ грязную больничную палату, все поняла, все сразу вспомнила, покорно, безъ содроганія души, безъ злобы признала тяжкій, пройденный ею жизненный путь и, безъ словъ, стала молиться... На небесахъ занималась холодная тусклая заря зимняго утра, когда усталая душа Вѣры Илларионовны вмѣстѣ съ ея молитвой отлетѣла отъ земли.

IV

Бывали минуты, когда Вероникѣ казалось, что чья-то таинственная, всегда охранявшая, рука ведетъ ее теперь вглубь какого-то корридора, все болѣе и болѣе суживающагося холодными темными сводами.

Трагическая смерть Михайловской сильно потрясла ее. Не жалѣя силъ, она хлопотала о томъ, чтобы ребенокъ Вѣры Илларионовны былъ бы отданъ ей на руки. На всѣ свои

мольбы она получала отказъ сухой и категорическій или же циничный и грубый.

— Ладно, этому отродю только и мѣста, что въ тюрьмѣ.... вырастетъ человѣкомъ, а не буржуемъ, а сдохнетъ, такъ и того лучше.

Узнавъ о смерти дитяти, Вероника сперва пришла въ отчаяніе, затѣмъ смирилась передъ мудрой благостью, избавившей ребенка отъ ничѣмъ незаслуженныхъ страданій. Она, какъ почти всѣ обыватели Петрограда, замерзала въ своей нетопленной квартирѣ. Единственная обитаемая комната, окруженная промерзлыми стѣнами, держала тепло лишь на то время, пока топилась переносная печка. Остальное время сковывающій промозглый холодъ пронизывалъ насквозь, не смотря на валенки, надѣтые поверхъ ботинокъ, и теплое пальто, съ которымъ разставались только ночью. Вероникѣ было больно смотрѣть на всегда голоднаго брата, бодро несущаго на своихъ юныхъ плечахъ небывалыя тяготы въ видѣ рубки маленькихъ полѣшекъ въ кухнѣ, гдѣ стоялъ морозъ и съ трудомъ можно было держать въ коченѣвшихъ рукахъ топоръ и пилу. Не разъ ему приходилось вскакивать рано утромъ и бѣжать вмѣстѣ съ Сонечкой на окраину города, чтобы притащить на маленькихъ ручныхъ саночкахъ нѣсколько длинныхъ тяжелыхъ бревенъ. Въ дни оттепели это путешествіе съ веревкой въ рукахъ или на плечѣ было ужасно, и оба возвращались въ промерзлую комнату совершенно измученные и голодные, безъ возможности сейчасъ же отдохнуть и поѣсть, такъ какъ привезенныя бревна надо было немедленно втаскивать въ квартиру, чтобы ихъ не раскрасли на дворѣ.

Въ кожаной распахнутой курткѣ, съ барашковой шапкой, сдвинутой на затылокъ, тяжело переводя дыханіе и обливаясь потомъ, мальчикъ терпѣливо втаскивалъ на плечѣ тяжелыя бревна на четвертый этажъ.

— Ника, есть чай и кусочекъ хлѣба? — спрашивалъ онъ, устало бросаясь на кресло.

Вероника, ежась и вздрагивая отъ пронизывавшаго ее холода, вынимала изъ-подъ плаща чайникъ и наливала изъ него чай въ холодныя, какъ ледъ, чашки, до которыхъ было больно дотронуться заледенѣвшими пальцами.

— Боже, до чего я промерзла! — говорила она, охватывая посинѣвшими руками теплый чайникъ, чтобы хоть на минуту отогрѣть пальцы.

— А мнѣ жарко. Я даже вспотѣлъ, такъ тяжело было тащить. Сонечка хотѣла нанять стоявшаго подлѣ склада мужика, но онъ запросилъ четыре тысячи, чтобы помочь намъ тащить. А есть еще хлѣбъ? — спрашивалъ голодный маль-

чикъ, быстро уничтоживъ небольшой ломтикъ припрятаннаго ему сестрой хлѣба.

— Нѣтъ, милый, хлѣба больше нѣтъ, — подавляя вздохъ, отвѣчала сестра.

Кисти и краски пришлось совсѣмъ отложить, такъ какъ кисть не слушалась оконченъвшихъ пальцевъ; кромѣ того, нигдѣ нельзя было достать ни холста, ни скипидару, ни красокъ. Связь между немногими оставшимися въ Петроградѣ друзьями и знакомыми понемногу обрывалась, такъ какъ жизнь каждой семьи, втиснутая въ самыя чудовищныя формы, дѣлала почти невозможными взаимныя посѣщенія. Телефоны бездѣйствовали, такъ какъ мало по малу всѣ отъ нихъ отказывались за ненадобностью; не съ кѣмъ и не о чемъ было говорить, кромѣ какъ о голодѣ и холодѣ. Все продавшія, обнищавшія семьи служили въ совѣтскихъ учрежденіяхъ ради пайка, возвращались домой въ пять часовъ усталыя, съ трудомъ въ полутьмѣ готовили на „буржуйкѣ“ примитивную ѣду, убирали, мыли посуду, стирали бѣлье, кололи дрова, таскали съ нижнихъ этажей воду, такъ какъ отъ мороза въ большей части домовъ трубы полопались, выносили во дворъ по темнымъ и скользкимъ лѣстницамъ помойныя ведра и, совершенно сбитыя съ ногъ, иззябшія, голодныя, простуженныя, ложились въ промерзлыя постели, чтобы, вставъ въ полутьмѣ ранняго утра, щелкая зубами отъ холода, начать сызнова такой же безотрадный день. Незамѣтно, день ото дня, люди оцускались, теряли прежнія привычки комфорта, переставали заботиться о своей внѣшности, даже о чистоплотности, такъ какъ все сковывавшій холодъ промерзлыхъ квартиръ, ужасъ котораго можетъ понять лишь испытавшій его, не давалъ возможности, какъ слѣдуетъ, умыться. Многіе старые люди спали, по недѣлямъ не раздѣваясь, результатомъ чего являлись паразиты. Мыла не было, бани, за отсутствіемъ дровъ, были закрыты. Надъ прежней блестящей столицей нависъ ужасъ и мракъ медленнаго, неотвратимаго разложенія, и тѣ, которые не имѣли силъ и энергіи бороться съ этимъ страшнымъ призракомъ, быстро катились внизъ къ полному уничтоженію своего прежняго облика, къ полной апатіи и безразличію, къ тому, что ихъ прежняя, еще недавняя, жизнь, съ утонченными привычками и прихотями, теперь мало разнилась отъ жизни звѣря.

Наступило Рождество, такое же угрюмое, холодное и голодное, какъ и всѣ предыдущіе дни. Городъ выдалъ жителямъ по фунту ржаной муки, по полфунта сахару и по восьмушкѣ кофейнаго суррогата. Эта минимальная подачка голодному населенію дала возможность выпить хоть нѣсколько разъ сладкій чай или кофе съ кускомъ домашняго хлѣба. Нѣкоторые семьи раздобывали вѣтки елокъ или крошечныя деревца.

Свѣчей купить было негдѣ; зажигались отъ прежнихъ годовъ елочные остатки свѣчей или рѣзали тоненькую церковную свѣчу, заранѣе припасенную, такъ какъ въ церквахъ купленную свѣчу на руки не выдавали: церковный служитель ставилъ ее самъ передъ указаннымъ образомъ.

Вероника приложила всѣ усилія, чтобы выдѣлать сочельникъ и день Рождества, давъ брату хоть маленькую иллюзію праздника. За очень высокую цѣну была куплена маленькая елочка, которую мальчикъ съ большимъ увлеченіемъ самъ убиралъ найденными въ картонкѣ оставшимися украшеніями отъ прежнихъ роскошныхъ елокъ. Печечка была затоплена лишній разъ. Температура въ комнатѣ была вполне терпимая, когда вернулись изъ церкви по совершенно темнымъ улицамъ, занесеннымъ снѣгомъ.

Теплилась лампадка передъ большимъ серебрянымъ образомъ. Было хорошо и уютно отъ маленькаго скромно разукрашеннаго зеленаго деревца, и въ тоже время была странная, нелѣпая дисгармонія въ обстановкѣ компаты, гдѣ рядомъ съ роскошными стильными вещами топилась простая жалѣзная печечка, уставленная кастрюлками и большимъ эмалированнымъ чайникомъ для кипятка. Въ окна глядѣла темная улица, погруженная въ мертвую тишину. Отлетѣла душа отъ трупa еще недавно пышной и радостной столицы. Ни въ одной квартирѣ не сіяли живые огоньки Рождественскихъ веселыхъ елокъ. Вездѣ было тихо, понуро и скоробно...

На другой день Вероника пошла навѣстить своихъ стариковъ — дядю и тетку. Трамваи ходили лишь по главнымъ центральнымъ улицамъ, и потому навѣщать стариковъ, отрѣзанныхъ далекимъ разстояніемъ, было очень трудно. Сонечка просила взять ее съ собой. Было очень холодно, вѣтрено и скользко. Петроградцы ходили по мостовой, давно лишенной всякаго движенія, такъ какъ по обледенѣлымъ панелямъ, посыпаннымъ пескомъ, идти было невозможно.

Совершенно промерзнувъ, съ трудомъ добѣжала Вероника до дома, гдѣ жили старики.

Парадные лѣстницы, за рѣдкимъ исключеніемъ, во всѣхъ домахъ были наглухо заколочены. Черныя же лѣстницы, всегда крутыя и недостаточно свѣтлыя, съ обледенѣлыми ступенями, были очень непріятны: онѣ вполне гармонировали съ общимъ укладомъ разрушавшейся жизни города.

Послѣ нѣсколькихъ ударовъ въ дверь послышалась какая то возня и голосъ Петра Александровича:

— Кто тамъ? Подождите немного.

— Дядя, это я и Сонечка.

— Сейчасъ открою.

Слышно было, какъ старикъ долго не могъ попасть ключомъ въ скважину двери.

— Дядя, что съ вами? — На порогъ передъ Вероникой стоялъ старикъ, не смотря на морозъ въ квартирѣ, въ одномъ жилетѣ, съ посинѣлымъ лицомъ и руками.

— Да вотъ, у меня какъ разъ сію минуту несчастье случилось: я несъ ведро, чтобы вылить его въ раковину; въ темнотѣ ошибся и все вылилъ прямо на полъ въ корридоръ. Тамъ такая темнота!... Теперь пройти нельзя, — лужа разошлась по всему корридору, — какъ всегда спокойно — невозмутимымъ голосомъ проговорилъ „патріархъ“.

— Боже мой, да вы такъ простудитесь, дядя. Вы совершенно посинѣли отъ холода.

— Тутъ, конечно, очень холодно, — согласился старикъ, дую на посинѣлые старчески-скрюченные пальцы.

Дайте мнѣ ведро и тряпку, я сейчасъ все это сдѣлаю. — Сонечка рѣшительнымъ движеніемъ подобрала полы шубки, взяла ведро и побѣжала черезъ двѣ пустыя вымороженные комнаты къ корридору. Вероника слѣдовала за ней. Громадная лужа расплзлась во всѣ стороны.

— Вотъ тряпка, я пошелъ. А можетъ быть лучше шваброй? — спрашивалъ старикъ.

— Вероника, иди сюда, — послышался изъ глубины темнаго корридора слабый голосъ Анастасіи Ивановны.

— Посмотри, пожалуйста, что онъ надѣлалъ! Вѣдь это же просто ужасъ одинъ! Въ такой холодъ и вдругъ съ водой возиться! Полное ведро прямо на полъ вывернулъ. Я сто разъ просила его не трогать. Ужъ лучше я одинъ разъ встану съ кровати и вылью, чѣмъ потомъ мучиться съ такимъ наводненіемъ. — Анастасія Ивановна, закутанная въ одѣяло, стояла въ концѣ корридора подлѣ двери въ комнату.

— Не волнуйтесь, милая тетя: Сонечка сейчасъ весь этотъ потопъ въ ведро соберетъ, — бодрящимъ голосомъ утѣшала Вероника, въ то же время чувствуя сильную боль въ окоченѣвшихъ отъ мороза ногахъ и испытывая страданіе при видѣ этихъ двухъ безпомощныхъ стариковъ въ промороженной квартирѣ, больныхъ, ослабѣвшихъ, совершенно одинокихъ въ кошмарныхъ условіяхъ настоящей жизни.

— Ради Бога, дядя, идите и надѣньте на себя что-нибудь. Вы весь дрожите.

— Нѣтъ, ужъ я сперва помогу Сонечкѣ ведро вылить.

— Опять ты, Петръ Александровичъ, съ этимъ ведромъ! Оставь, сдѣлаютъ безъ тебя. Надѣнь шубу.

— Не беспокойтесь, я все сама сдѣлаю, — быстрыми движеніями сгребая въ тряпку воду и выжимая ее въ ведро,

говорила Сонечка, стоя въ неловкой позѣ, чтобы не выпустить полы шубки, зажатая между колѣнъ.

— Ахъ, какъ Петръ Александровичъ становится невыносимъ! — пользуясь глухотой мужа, жаловалась старушка, войдя въ комнату. — Онъ сдѣлалъ еще болѣе упрямъ. Прямо сладу нѣтъ. Все дѣлаетъ по своему, не слушается, ворчитъ, когда я говорю, и каждый день устраиваетъ какую-нибудь каверзу. Вчера сжегъ одну за другой двѣ рѣзныхъ деревянныхъ салатныхъ ложки, мѣшая ими въ „буржуйкѣ“ уголья: разбилъ двѣ тарелки, наступивъ на нихъ ногами, такъ какъ заупрямился и непремѣнно поставилъ грязную посуду на полъ. Я ему говорю; поставь на комодъ, нѣтъ, — по своему сдѣлалъ и поставилъ на полъ. Прожегъ цѣлую дырку въ пальто... каждый день что-нибудь.

— Старѣетъ онъ, тетя...

— Совсѣмъ не отъ старости, ты не думай, а только изъ-за упрямства. Петръ Александровичъ, — обратилась она къ мужу, сильно повышая голосъ, чтобы быть услышанной, — Ника намъ пирога принесла. Ты говорилъ, что ѣсть хочешь.

— Да, я очень голоденъ, — спокойно отозвался старикъ.

— Такъ вотъ, возьми. А можетъ быть ты кофе сварить? Мы бы всё согрѣлись.

— Можно и кофе.

— Сейчасъ мы съ Сонечкой приготовимъ кофе, а вы отдохните, дядя.

— Да, я немного усталъ, а, главное, очень озябъ.

Старикъ запахнулъ полы мѣхового пальто и поглубже сѣлъ въ кресло, вложивъ посинѣлыя руки въ отверстія рукавовъ.

Вероника печальнымъ взглядомъ обвела комнату.

— Какой ужасный упадокъ! — подумала она, глядя на давно неметенную комнату, съ клубками сбившагося мусора подъ столѣмъ и стульями, со слоемъ пыли на вѣсѣхъ предметахъ, съ вещами, брошенными по всѣмъ угламъ. Все имѣло мутно-сѣрый видъ; комната казалась складомъ какой-то рухляди.

— Насъ холода очень замучили, — слабымъ голосомъ заговорила Анастасія Ивановна, укладывая закутанную въ оренбургскій платокъ голову на измятыя подушки. — Нашъ хозяинъ очень добрый человѣкъ и снабжаетъ насъ понемногу дровами, такъ какъ онъ служитъ въ какой-то тамъ дровяной организаціи. Мы топимъ печь черезъ день, но это мало согрѣваетъ, тѣмъ болѣе, что кругомъ всё стѣпы, какъ ледъ. А у тебя какъ, моя милая? Тоже зябнете?

— По утрамъ ниже нуля. Печь ни разу не топила. Ничего! Теперь осталось страдать всего два мѣсяца.

— Ахъ, выживемъ ли мы ихъ при такихъ условіяхъ?! — вздохнула старушка. — Вчера такъ холодно было, что я убѣдила Петра Александровича лечь спать въ шубѣ. Невозможно было раздѣться. На дняхъ онъ упалъ на улицѣ, возвращаясь изъ діетической столовой. Разлилъ весь супъ, разронялъ судки и ушибъ себѣ ногу. Такъ мы и остались безъ обѣда. Его очень изнуряетъ это хожденіе во всякую погоду въ столовую за обѣдомъ, да и рискованно въ его годы ходить по гололедицѣ. Ничего не подѣлаешь: ходить.

— А поручить это некому?

— Никто не хочетъ. Мы хлопотали. И денегъ не хотятъ. Говорятъ, за полфунта хлѣба пойдутъ, а гдѣ же этотъ хлѣбъ достать? Скорѣе бы Господь помогъ до весны дожить!

— Кофе готовъ. Можно наливать, — объявила Сонечка, снимая съ „буржуйки“ бѣжавшій черезъ край кофейникъ.

— Вотъ это отлично! — восторженно воскликнулъ Петръ Александровичъ.

Вероника разлила по чашкамъ горячій кофе. Отогрѣваясь, съ удовольствіемъ пила горькій кофе безъ сахара.

Петръ Александровичъ пилъ, обжигая губы и стуча отъ холода зубами.

— Пейте, дядя, еще. Я боюсь, что вы простудились.

Вероника заботливо налила старику вторую чашку.

— Нѣтъ, ничего, — равнодушно отвѣтилъ онъ. У меня очень сильный организмъ. А у меня есть къ вамъ просьба, Сонечка: не можете ли вы продать намъ что-нибудь, а то всѣ деньги уже на исходѣ. Женщина, которая намъ продавала, давно что-то не приходитъ.

— Конечно. Завтра же могу пойти на базаръ, что подлѣ насъ: иногда тамъ удается хорошо сбыть вещи.

• — Говорятъ, на Малыцовскомъ рынкѣ лучше.

— Я боюсь туда ходить: тамъ безпрестанныя теперь облавы. Не только все отнимаютъ, но загоняютъ въ милицію, а оттуда на общественныя работы или заставляютъ полы мыть и ватеръ-клозеты чистить въ милиціи и въ казармахъ.

— Тамъ гдѣ-то въ корзинкѣ есть мой старенькій мѣхъ, муфта и пальто Петра Александровича.

— А я думаю, сперва возьмите вотъ это, Сонечка. — „Патріархъ“, порывшись въ карманы, подаль маленькую баночку. — Теперь этого нигдѣ достать нельзя: это золото для золотообрѣза книгъ. Каждый переплетчикъ будетъ очень доволенъ.

— Что вы, дядя? — разсмѣялась Вероника. — Гдѣ же теперь переплетчики и для какихъ книгъ?

— На такую вещь я никогда не найду покупателя, хоть мѣсяцъ стой на базарѣ. Пальто и мѣхъ — это другое дѣло. Вы не знаете, что теперь за мука съ этими базарами, — говорила Сонечка. — Что ни день, то облава. Оцѣнить базаръ красноармейцы и все отнимають у тѣхъ, кто продаетъ и у тѣхъ, кто покупаетъ. Вчера у бѣдной женщины, бывшей прачки, отняли два фунта хлѣба и фунтъ постнаго масла. Купила на послѣднія деньги для своихъ дѣтей; еле перебивается съ тремя ребятишками. Подумайте только: отняли хлѣбъ у голодныхъ, да еще погнали на весь день дрова грузить для казармы. Вотъ какъ они заботятся о бѣдномъ народѣ! — Сонечка всегда горячилась, когда разговоръ шелъ о большевикахъ, такъ какъ, стоя близко къ бѣдному классу, она видѣла, что онъ страдалъ все больше и больше.

— А почему же эта прачка не отдаетъ своихъ дѣтей въ пріютъ? — спросилъ Петръ Александровичъ. — Вѣдь они очень много заботятся о дѣтяхъ. Почти всѣ особняки и лучшія квартиры взяты подъ пріюты.

— Она отдала было и взяла назадъ, потому что дѣтей коверкають, ровно никакого ученія нѣтъ, безпрестанно таскають ихъ въ синемаграфы и театры, преподають танцы, пѣніе, рисованіе, развращають, не позволяютъ молиться, говорить, что Бога нѣтъ. Дѣти пріучаються къ обстановкѣ, которой дома быть не можетъ; а кормятъ плохо, потому что администрація пріутовъ воруетъ провизію.

— Да, да, власть попала въ темныя руки. Это очень жаль и, конечно, дискредитируетъ все движеніе, — глубоко-мысленно покачивая головой, замѣтилъ старикъ. — Да, такъ не лучше ли повременить съ вещами? — помолчавъ, раздумчиво произнесъ онъ.

— Ахъ, Петръ Александровичъ, опять ты путаешь. Кончится тѣмъ, что мошь проѣсть и мѣхъ, и твое пальто, а весной все равно этого никто не купить.

— Я думаю, не лучше ли продать три селедки, что у насъ осталось?

— Стоить ли изъ-за трехъ селедокъ морозиться на базарѣ!

— Теперь селедки, говорятъ, по триста рублей.

— Что же это за деньги теперь, когда фунтъ мороженой капусты стоитъ двѣсти рублей! Сонечка, достаньте мой мѣхъ, — рѣшительно обратилась къ крестницѣ Анастасія Ивановна.

— А мое пальто я все-таки думаю лучше подождать.

— Ну, какъ знаешь, — нетерпѣливо махнула рукой старушка. — Съ тобой не сговориться. Онъ сдѣлался такой упрямый и скупой, — понижая голосъ, обратилась она къ

племянницѣ. — Куда все это беречь, для чего?! Доживемъ ли сами до весны?!

Сонечка достала измятый, сильно потрепанный и потертый небольшой порковый воротничекъ и муфту старомоднаго фасона.

— За сколько вы думаете продать это? — спросилъ старикъ.

— Тысячъ восемь дадутъ.

— Какъ, восемь? Я думаю, не меньше двадцати.

— Что вы, дядя!

— Да вѣдь фунтъ сахару стоитъ три съ половиной тысячи, масло коровье, говорятъ, тоже три тысячи, такъ какъ же мѣхъ вы цѣните? — Старикъ съ удивленіемъ переводилъ взглядъ съ Вероники на Сонечку и обратно.

— Мѣха достать можно, такъ какъ многіе ихъ сбываютъ, а масла и сахару нигдѣ нѣтъ.

— У комисаровъ есть все, что угодно, — съ недоброжелательнымъ огонькомъ въ глазахъ, замѣтила Сонечка. — На дняхъ я видѣла свою подругу; она была приглашена къ одному комисару на именины его жены и рассказываетъ, что на столѣ были наставлены какія угодно блюда. Былъ пирогъ изъ бѣлой муки съ рисомъ, былъ поросенокъ, ветчина, леденцовъ, сахару и масла — сколько угодно. Клялась, что были настоящія всякія пирожныя даже и вино.

— Охотно этому вѣрю, — спокойно проговорилъ старикъ.

— Это подлость, это низость! — съ обидой въ голосѣ горячо протестовала Сонечка. — Населеніе пухнетъ и вымираетъ отъ голода, а у нихъ столы ломятся отъ всякихъ вкусныхъ вещей, которыхъ мы, несчастные, уже третій годъ не видимъ.

— Это привилегія комисаровъ и коммунистовъ. Взятка отъ правительства.

— Большая часть идетъ въ коммунисты только изъ-за того, чтобы вкусно ѣсть, реквизировать богатые обстановки и втихомолку заниматься спекуляціей.

— Что жъ, это не ново. Наиболѣе важная спекуляція идей, а такъ какъ темные элементы захватили въ свои руки всѣ отвѣтственные мѣста, то чему же удивляться? — пояснилъ старикъ. Выпивъ горячаго кофе, онъ началъ отогрѣваться въ мѣховомъ пальто, и опять голосъ его звучалъ бодро, и потускнѣвшіе было глаза смотрѣли вразумительно и ясно.

— Вотъ какъ привелъ Господь встрѣчать праздники! Кто могъ это думать?! Встрѣчаемъ хуже, чѣмъ въ былое время нищія, — тихо вздохнула Анастасія Ивановна.

— Да, плохо, очень плохо, — согласился Петръ Александровичъ. — И не только намъ плохо, но, я узналъ на

днѣхъ въ разговорѣ съ однимъ мужикомъ, что плохо и имъ. Большевики наобѣщали народу очень много, а въ то же время по деревнямъ все отъ нихъ отнимаютъ. Крестьяне начинаютъ озлобляться: крестьянинъ — это самый ярый собственникъ. Врядъ ли большевизмъ справится съ деревней?!

Вероника съ тяжелымъ сердцемъ оставила стариковъ. Невозможность хоть какъ-нибудь помочь имъ угнетала ее. Какъ и они, она ждала весны, возлагая надежды, что произойдутъ какія-нибудь перемены, а главное, настанетъ тепло и облегчитъ хоть на одну долю страданія измученныхъ жителей холодного, какъ трупъ, разлагающагося Петрограда.

V

Марія Аполлоновна, благодаря неустаннымъ хлопотамъ своей бывшей горничной, имѣвшей большія связи между комиссарами и коммунистами, была, послѣ долгаго сидѣнія въ тюрьмѣ, выпущена одновременно съ Анной Федоровной Рязанцевой. Ноги ея, послѣ того какъ она водворилась въ свою квартиру, оказались совершенно здоровыми. Она начала настойчиво отхаживать свое тѣло, завядшее отъ тюремныхъ условий и тоски. Однако, не смотря ни на какія втиранія и массажи, залегшія вокругъ глазъ морщинки удалить не удавалось. Сѣдая прядка волосъ, красиво выдѣлявшаяся надъ молодымъ лицомъ, распространилась въ сѣдину по всей головѣ и дѣлала усталое лицо, съ потускнѣвшими отъ частыхъ слезъ глазами, сильно постарѣвшимъ.

— Боже мой, какъ я постарѣла! — съ отчаяніемъ повторяла Бочаева, разглядывая себя въ зеркало. — Наташа, вѣдь мой мужъ не узнаетъ меня, когда увидитъ; пожалуй разлюбятъ, — обращалась она къ своей бывшей горничной, безпрестанно навѣщавшей ее.

— Да ужъ кого тюрьма красить, что тутъ говорить! А вы думаете, Иванъ Петровичъ помолодѣлъ, сиди столько мѣсяцевъ въ одиночкѣ? Увѣрена, что больше васъ состарился, потому что въ одиночномъ заключеніи нервы очень разстраиваются. Вотъ мой мужъ на дняхъ рассказывалъ.... — Словоохотливая горничная начала повѣствовать далеко не успокаивающіе факты тюремнаго режима съ его послѣдствіями.

Блондинка, съ выпѣвшимъ малокровнымъ лицомъ, съ водянисто-голубыми глазами, прежде ловкая, проворная и услужливая горничная, теперь — жена главнаго повара, она считала для своего новаго положенія болѣе подходящимъ имѣть медлительныя движенія и протяжную рѣчь. Она начала курить, шураясь на клубы дыма, какъ дѣлала это

Марія Аполлоновна; два раза въ недѣлю ходила къ парикмахеру, платя за прическу по двѣсти рублей и за маникюр по сто, ѣздила въ театръ слушать Шалыпина, платя за мѣсто по двѣ тысячи и за извозчика въ оба конца тоже двѣ тысячи. Хотя она была малограмотна, писала каракулями, которыя походили на іероглифы, и читала съ трудомъ, однако часто сидѣла въ креслѣ съ папирсой въ зубахъ и книгой въ рукѣ, страницы которой почти не перелистывались. Она и ея мужъ имѣли очень вліятельныя знакомства въ чрезвычайной комиссіи на Гороховой, сокращенно носившей названіе „Чека“.

Съ тѣхъ поръ, какъ Бочаева вышла изъ тюрьмы, она энергично принялась за хлопоты объ освобожденіи своего мужа. Къ Кацману обратиться она не рѣшалась: по настоянію мужа она давно прервала съ нимъ знакомство въ силу того, что Кацманъ былъ однимъ изъ немногихъ, искренно вѣрившихъ въ идею коммунизма и не допускавшихъ никакихъ сдѣлокъ и компромиссовъ на этой почвѣ. Бочаевъ не безъ основанія боялся его остраго проницательнаго взгляда. Безъ малѣйшаго колебанія Кацманъ засадилъ бы въ тюрьму или отправилъ подъ разстрѣлъ своего брата, отца или мать, если бы усмотрѣлъ въ ихъ поведеніи контрреволюцію или спекуляцію. Это былъ крайне неприятный, недобрый и наглый, въ сознаніи своей власти, человекъ, но честный въ отношеніи идеи, въ которую онъ вѣрилъ. Марія Аполлоновна знала, что у Кацмана было достаточно власти, чтобы освободить ея мужа, но, даже при его хорошемъ отношеніи къ ней, онъ, узнавъ, что Бочаевъ сидитъ за спекуляцію и очень крупную, конечно, не захотѣлъ бы пошевелинуть и пальцемъ для спасенія его. Дѣло Бочаева было слишкомъ крупное, и поэтому надо было осторожно нащупывать почву, чтобы найти вѣрный путь.

Путь этотъ былъ найденъ Наташей — женой старшаго повара въ совѣтской столовой. Ея мужъ узналъ, кому надо было дать крупную взятку для освобожденія Бочаева. Она немедленно сообщила это Маріи Аполлоновнѣ. Рѣшено было, что въ назначенный день мужъ Наташи явится къ Бочаевой и все ей подробно разъяснитъ. Марія Аполлоновна предвидѣла, что заплатить придется очень дорого, но никакія траты не пугали ее при мысли, что ея мужъ будетъ освобожденъ, и они какъ нибудь вырвутся на Кавказъ, гдѣ отдохнуть отъ всѣхъ пережитыхъ мученій. Она была увѣрена, что ловкій кавказецъ сумѣетъ тамъ еще разъ нажать утерянные миллионы.

Поздно вечеромъ, освободясь отъ дежурства въ столовой, поваръ Тирбуновъ, представитель новой совѣтской бур-

жуазіи, предварительно весь вымывшись въ ваннѣ и перемѣнивъ платье, что онъ дѣлалъ каждый разъ, возвращаясь домой, на скорую руку выпилъ чашку чаю съ медомъ и кускомъ домашней сладкой булки и собрался къ Маріи Аполлоновнѣ.

Тирбуновъ былъ типичный поваръ высшаго калибра, т. е. бывшій поваръ большого барскаго дома, гдѣ тратились большія суммы на завтраки и обѣды, гдѣ безпрестанно устраивались большіе приемы, и гдѣ поваръ на расходы по кухнѣ стѣсненъ не былъ. Кромѣ привычки чувствовать въ былое время свою независимость и вѣсь, въ силу сознанія своихъ поварскихъ достоинствъ, теперь это чувство еще болѣе въ немъ усилилось, во первыхъ, потому, что большевизмъ создалъ ему барскую обстановку жизни, а во вторыхъ потому, что, дѣлая крупныя дѣла черезъ поставщиковъ столовой, ему ничего не стоило кормить двухъ-трехъ изъ тѣхъ именитыхъ, теперь голодныхъ, баръ, которымъ онъ еще недавно готовлялъ въ отдаленной кухнѣ пышныхъ, хороми утонченныя блюда. Въ немъ была смѣсь добродушія, хитрости, добрыхъ порывовъ, ловкихъ расчетовъ, мелочности и щедрости. Онъ былъ очень самолюбивъ и, какъ у всѣхъ малокультурныхъ людей, его самолюбіе сильно страдало отъ самыхъ пустячныхъ причинъ. Онъ страстно любилъ собакъ, птицъ и цвѣты. Самъ чистилъ клѣтку своихъ двухъ канареекъ, приручалъ ихъ и всячески съ ними возился; поливалъ и пересаживалъ растенія, которыхъ развелъ на всѣхъ окнахъ своей небольшой квартиры, загроможденной за послѣднее время всякими дорогими разрозненными вещами, случайно и дешево купленными изъ барскихъ квартиръ. Хотя лично ему, — кромѣ цвѣтовъ, канареекъ, сытаго обѣда въ пріятельской компаніи и водки, ничего не надо было, однако онъ охотно исполнялъ желанія своей капризной и сварливой жены и тратилъ большія суммы на затѣи, которыя прежде были только барской привилегіей. Его жена мечтала о квартирѣ съ богатой буржуазной обстановкой, и онъ общалъ ей это, хотя для него было достаточно и одной комнаты. Благодаря спекуляціямъ и воровству въ совѣтской дѣтской столовой, онъ наживалъ громадныя суммы и тратилъ ихъ, уступая капризамъ жены, на ненужныя для него вещи или удовольствія. Онъ иногда кормилъ голодныхъ „буржуевъ“ — своихъ бывшихъ господъ — дѣтскимъ совѣтскимъ обѣдомъ и любилъ разсказывать объ этомъ, выдавая щедрыя порціи, но такъ, чтобы эта щедрость отнюдь не оплачивалась бы его личными широкими доходами.

— Съ полнымъ удовольствіемъ накормилъ я сегодня графа, — говаривалъ онъ иногда женѣ, вернувшись домой.

— Положилъ это ему щей, а потомъ полную миску каши,

да жиру отвалиль, ей Богу, съ четверть фунта, а потомъ, значить, кофею налилъ съ молокомъ; пусть, думаю, всласть поѣсть, потому добрый былъ человекъ и негордый. Бывало, прійдетъ въ буфетную, вызоветъ меня и руку протянетъ:

— Спасибо, — говорить, — за вчерашній ужинъ. У Кюба такого мои гости не получаютъ.

Да, негордый былъ человекъ. А ужъ теперь, такъ просто жалость одна смотрѣть, на что похожъ сталъ: голодный, худой, пальтишко обтрепалось... а какъ ни какъ, по всему чувствуется баринъ.

— А баронъ твой давно не приходилъ? — спрашивала жена.

— Вчера приходилъ. — Выраженіе лица у Тирбунова сразу мѣнялось: изъ добродушнаго дѣлалось жесткимъ. — Далъ ему тарелку щей. На-те, говорю, ѣшьте. На томъ и кончилось мое угощеніе. Теперь „голубчикъ“ говорить, а было время такъ скотиной ругалъ. Не забуду я ему этого.

Обрюзглое отъ жиру и большого употребленія спирту, лицо Тирбунова, бритое, съ небольшими усами и, гладко зачесанными на проборъ, лоснящимися волосами, дѣлалось неприятно, въ глазахъ зажигался недобрый мстительный огонекъ.

— Чортъ съ нимъ съ барономъ, гони его въ шею, — передергивала плечами жена.

— Ладно. Я ему даю тарелку этихъ самыхъ щей такъ, что похуже плевка въ рожу. Небось, понимаетъ: баронской спѣси въ немъ ой-ой-ой сколько сидитъ, а голодъ ко мнѣ гонитъ.

— Отнеси-ка ты Маріи Аполлоновнѣ постнаго сахару съ фунтикомъ, — приказала Наташа мужу, видя, что онъ собрался идти къ Бочаевой.

— Ну вотъ еще, для чего нести?

— Говорятъ, отнеси. Знаю, что говорю. У нея шикарное пальто, хочетъ продать, такъ надо задобрить, чтобы мнѣ подешевле уступила.

— Какъ мужа изъ тюрьмы вызволимъ, такъ, пожалуй, и даромъ тебѣ отдастъ, — вѣдь черезъ насъ ходъ весь узнаетъ.

— За это дѣло она общала мнѣ столъ съ зеркаломъ подъ туалетъ подарить.

— Ну, это дѣло хорошее. Какой столъ?

— Бѣлый лакированный.

— Ладно. Такъ я пойду. — Поваръ положилъ въ карманъ пакетъ съ постнымъ сахаромъ, который его жена мастерски приготовляла изъ ворованнаго у дѣтей въ столовой сахарнаго песку, и отправился къ Бочаевой, ожидавшей его съ большимъ волненіемъ.

— Что же вы такъ запоздали, Тирбуновъ? Я ужъ начинала волоноваться, боясь, что вы сегодня не придёте. Садитесь. — Бочаева указала ему на кресло. Тирбуновъ сѣлъ и, потирая руки съ короткими, какъ бы обрубленными, пальцами, оглядѣлъ нарядную и теплую комнату:

— Какъ можно не придти?! Я свое слово всегда держу. Тепло у васъ, не то что въ иныхъ помѣщеніяхъ морозъ стоитъ.

— Да, у меня, слава Богу, еще есть небольшой запасъ дровъ.

— Это хорошо.

— Ну, Тирбуновъ, я жду отъ васъ свѣдѣній, — нетерпѣливо перебила его Бочаева.

— Какъ же-съ, я принесъ вамъ, значить, самыя настоящія свѣдѣнія. Все разузналъ доподлинно, и даже, такъ сказать, это самое дѣло толкнулъ.

— Ну — ну, говорите.

— Надо вамъ пойти къ одной особѣ, живетъ она на Петроградской сторонѣ, танцовщица Катерина Михайловна. Состоить она въ очень тѣсныхъ отношеніяхъ съ Чудинымъ, любовница его, значить. Надо ей отвалить двѣсти тысячъ, и тогда дѣло ваше кончено, потому вѣдь Чудинъ — этотъ и есть главный слѣдователь, отъ котораго зависитъ все дѣло Ивана Петровича. Сколько ему полагается, а сколько къ ея рукамъ прилипнетъ — это насъ не касается: главное, чтобы дѣло было покончено.

— Конечно, но можно ли быть увѣренной, что если я дамъ деньги, то они выпустятъ мужа?

— Ужъ тутъ по довѣрію, — развелъ руками поваръ. — А вы сговоритесь съ ней такъ, что половину впередъ, а остальные послѣ освобожденія. Да тутъ вамъ сомнѣваться нечего: дѣло вѣрное. Мнѣ доподлинно извѣстно черезъ пріятеля, который свой человекъ въ домѣ у этой самой танцовщицы, что такимъ манеромъ уже двоихъ высвободили. Вотъ вамъ ея адресъ. Поѣзжайте къ ней завтра же, потому сегодня вечеромъ она про все это будетъ освѣдомлена.

— Какъ мнѣ явиться къ ней?

— А вамъ надо сказать, что васъ прислалъ къ ней Евгений Васильевичъ. Это, такъ сказать, условное у нея, чтобы она знала, отъ кого и по какому дѣлу.

— Завтра же пойду, а тамъ, — что Богъ дастъ. И я, и Иванъ Петровичъ столько въ тюрьмѣ натерпѣлись, что бояться намъ ужъ нечего.

— Да вы не сомнѣвайтесь, Марья Аполлоновна, дѣло тутъ вѣрное, безо всякихъ подвоховъ. Вотъ только сумма ужъ очень жирная, это вѣрно, — упирая ладони о колѣни разставленныхъ ногъ, покачалъ головой Тирбуновъ.

— Последнія отдамъ, только бы мужа вытащить изъ ихъ когтей.

— Дѣло извѣстное! Деньги нажить можно, а съ ихней тюрьмой того и гляди у стѣнки очутишься. Совѣтую я вамъ очень, Марья Аполлоновна, какъ только Ивана Петровича освободятъ, такъ съ глазъ долой, да подальше.

— Я это отлично понимаю, но какъ и куда удирать? Вѣдь за нами будетъ слѣжка, и, навѣрное, пропуска на отъѣздъ намъ ни за что не дадутъ.

— А вы въ Финляндію, черезъ фронтъ, — понизилъ голосъ Тирбуновъ.

— Какъ это сдѣлать? Говорятъ, многіе пробрались, но какъ достать вѣрнаго проводника?

— Это дѣло я вамъ живо оборудую, только бы Ивана Петровича выпустили.

— Да что вы, Тирбуновъ! Какъ же вы сдѣлаете?

— Есть у меня такой вѣрный человѣкъ, молочникъ одинъ — финнъ. Проведетъ лучшимъ манеромъ и по знакомству немного возьметъ.

— Вотъ было бы счастье! — вздохнула Бочаева.

— А у меня къ вамъ есть просьбица, Марья Аполлоновна: я вамъ, значить, одно, а вы мнѣ — другое.

— Съ удовольствіемъ, все, что могу.

— Дѣло, видите ли, такое, что Наташѣ моей до смерти хочется квартиру побольше имѣть и чтобы, значить, съ настоящей обстановкой. Такъ если кто изъ вашихъ знакомыхъ желалъ бы продать какъ есть всю цѣликомъ, такъ я бы купилъ съ полнымъ удовольствіемъ. Если прослышите, то, прошу васъ, мнѣ сообщить.

— Хорошо, Тирбуновъ, я вамъ обѣщаю.

— Только вы ужъ тогда предупредите, чтобы насчетъ продажи и покупки поосторожнѣе, потому теперь продажа воспрещается: ну, а какъ если я вселюсь въ квартиру, и вещей, значить, выносить не будемъ, то кто же узнаетъ?

— У меня есть знакомая, которой очень бы хотѣлось черезъ Финляндію за границу уѣхать. Я повидаю ее и скажу, что вы можете посодѣйствовать ей. Если она рѣшится, то навѣрное съ удовольствіемъ или продать вамъ всю свою квартиру, или предложить жить въ ней, пока обратно не вернется. У нея прелестная обстановка, и за ваше содѣйствіе въ ея переправѣ черезъ границу, она, конечно, съ васъ дорого не возьметъ.

Бочаева думала о Вероникѣ, которая, узнавъ объ ея освобожденіи, навѣщала ее и говорила о необходимости искать способовъ бѣжать за границу, чтобы дать образованіе брату и работать самой.

Желая закрѣпить за собой благодарность повара для дальнѣйшей услуги, — переправы съ мужемъ черезъ Финляндскую границу, Бочаева рѣшила повидать художницу и указать ей возможность бѣгства.

— Сдѣлайте одолженіе, будемъ вами очень благодарны. Сходить самому къ вашей знакомой или какъ?

— Я ее повидаю и тогда черезъ Наташу все вамъ передамъ.

— Очень хорошо-съ. Ну, а затѣмъ счастливо вамъ оставаться. Такъ вы, значить, завтра же прямо къ этой Екатеринѣ Михайловнѣ и сходите, этакъ часиковъ въ двѣнадцать.

— Конечно, завтра же пойду.

— А вотъ, Наташа просила передать вамъ своего изготавленія сахарку. — Тирбуновъ досталъ изъ кармана пакетъ и положилъ его на столъ.

— Что за баловство! Благодарствуйте. Теперь сахаръ — это большая роскошь, — замѣтила Бочаева, имѣвшая запасы этой роскоши еще на продолжительный срокъ, не смотря на тщательные обыски ея квартиры.

— Что и говорить, — вздохнулъ сытый поваръ. — Не жизнь, а, можно сказать, каторга. — Все позакрывали, ничего не достать. Пшенная каша, да мерзлая картошка, вотъ-те и ѣда. Не знаешь, какъ и извернуться.

— Да, очень тяжело, — согласилась Бочаева, мысленно ухмыляясь, такъ какъ черезъ Наташу, любимую прихвастнуть и покичиться своей широкой жизнью, она отлично знала, что у нихъ всего было вдоволь.

На другой день Марія Аполлоновна, взявъ съ собою сто тысячъ совѣтскихъ денегъ, отправилась по указанному адресу къ танцовщицѣ. Та приняла ее очень любезно, сказавъ, что уже знаетъ, въ чемъ дѣло. Она предложила ей чаю, который сама въ это время пила, сидя подлѣ сильно натопленной печки съ грудой алыхъ, переливавшихся отъ жару, угольевъ.

Поверхъ черной блузки и юбки, на ней была накинута ярко-алая шолковая съ бахромой шаль, очень выдѣлявшая ея эффектную, хоть и вульгарную красоту цыганскаго типа. Она была красива той кафѣшантанной красотой, которая, въ данное время, могла найти себѣ большой кругъ поклонниковъ.

— Ышьте, пожалуйста, Ышьте, — повторяла она, придвигая Маріи Аполлоновнѣ тарелку съ кусочками бѣлаго хлѣба, намазаннаго толстымъ слоемъ масла съ сыромъ, и вазочку съ вишневымъ вареньемъ.

— Я знаю все. Что же; попробуемъ вытащить вашего мужа; надѣюсь, что это удастся, — улынулась танцовщица, показывая ровные бѣлые зубы и сейчасъ же некрасивымъ движеніемъ сворачивая вбокъ алая пухлая губы.

— Вы думаете, это удастся скоро? Вѣдь мой мужъ сидитъ почти годъ. Это ужасно! Годъ въ одиночкѣ!

— Думаю, что скоро. Черезъ недѣлку, пожалуй.

— Ахъ, Екатерина Михайловна, нельзя ли раньше? Мы съ мужемъ столько вѣдь перестрадали!..

— Не знаю, удастся ли раньше. Попробую.

— Похлопочите, Екатерина Михайловна. Вы понимаете, что для меня теперь минуты покажутся часами.

— Какъ не понять! У меня вотъ этакъ же брать сидѣлъ. Я была далеко, хлопотать было некому, и погибъ ни за что: разстрѣляли.

— А какъ на счетъ денегъ, Екатерина Михайловна?

— Вѣдь вы знаете условія? — Наливая себѣ въ чашку кипятку изъ самовара и сосредоточенно глядя на бѣгущую струю, спросила танцовщица.

— Двѣсти тысячъ?

— Да, двѣсти. Меньше никакъ нельзя; очень трудное дѣло. — Танцовщица сдѣлала озабоченное лицо, какъ будто бы соображая и обдумывая всѣ предстоящія хлопоты, заключавшіяся для нея лишь въ передачу половинной суммы изъ рукъ въ руки своему другу, — слѣдовательно Чудину, отъ котораго зависѣла судьба Бочаева.

— Я принесла вамъ сто.

— Остальные вы можете занести въ день освобожденія.

— Отлично.

Марія Аполлоновна вынула изъ сумочки аккуратно сложенный пакетъ, состоявшій изъ новыхъ глянцевитыхъ десяти-тысячныхъ.

Танцовщица внимательно пересчитала и подложила пакетъ подъ сахарницу.

— Значить, я могу надѣяться? — Бочаева поднялась, съ улыбкой протягивая на прощаніе руку.

— Будьте увѣрены. Но только повторяю вамъ: полнѣйшая тайна, чтобы буквально никому ни слова, иначе всѣ мы такъ влетимъ, что ужъ, навѣрное, не выскочимъ.

— Отъ меня никто не узнаетъ. Я молчать умѣю. Было время, когда проводила серьезнѣйшія дѣла государственной важности. Въ этомъ отношеніи я стрѣланный воробей, — улыбнулась Бочаева. — А вы, Екатерина Михайловна, все-таки остерегите тѣхъ, кто направилъ меня къ вамъ.

— Евгений-то Васильевичъ? Ну, этотъ не пикнетъ. Ему жизнь мила. Тоже вѣдь не даромъ направляетъ. Вѣдь это онъ вамъ сказалъ? Самъ, лично?

— Да, самъ, — солгала Бочаева, не имѣвшая понятія, кто такой Евгений Васильевичъ, но не желая впутывать Наташу и ея мужа и тѣмъ вызывать ненужное волненіе, а

можетъ быть и сомнѣніе у танцовщицы. Она солгала, чтобы не сорвать дѣло. Въ ту же минуту она подумала, что надо немедленно же предупредить повара и его жену, чтобы они кому-нибудь не проговорились объ этомъ дѣлѣ.

Отъ танцовщицы она проѣхала къ Наташѣ, которая оказалась дома.

— Что вы, Марія Аполлоновна, развѣ я и сама не понимаю, что дѣло это очень даже опасное, и о немъ болтать нельзя. Будьте спокойны: мы съ мужемъ никому даже и не намекали, — увѣряла Наташа, глядя прямо въ глаза Маріи Аполлоновнѣ свѣтлыми живыми глазами.

Бочаева ушла успокоенная, не подозревая, что Наташа уже успѣла похвастаться своимъ участіемъ въ такомъ крупномъ дѣлѣ передъ своей подругой коммунисткой, служившей на Гороховой. До октябрьскаго переворота она стояла за прилавкомъ въ кондитерской. Некрасивая, озлобленная на всѣхъ за неудачи въ личной жизни, эта дѣвушка смотрѣла совершенно хладнокровно на море проливаемыхъ слезъ въ страшномъ учрежденіи, гдѣ она служила. И видя страданія измученныхъ людей, находила въ этомъ облегченіе для своей мало удавшейся жизни.

Черезъ недѣлю Бочаевъ, до неузнаваемости похудѣвшій, съ посеребренными висками, но съ неизмѣннымъ блескомъ черныхъ зрачковъ на изсиня молочномъ бѣлѣ, не утратившій чисто животной жизнеупорности, вернулся домой. Марія Аполлоновна, ожидавшая съ часу на часъ его освобожденія въ продолженіи сутокъ, всю ночь не сомкнула глазъ и, блѣдная, взволнованная, не зная, за что взяться, напряженно прислушивалась у дверей лѣстницы. Наконецъ, до ея чуткаго уха донеслось хорошо знакомое ей покашливаніе. Она сорвалась съ мѣста, распахнула дверь, стремительно бросилась внизъ по лѣстницѣ и, съ возгласомъ — „Вано!“ охватила руками шею мужа.

Бочаевъ молча обнялъ жену и поспѣшилъ наверхъ.

— Ну, вотъ, наконецъ! — произнесъ онъ, войдя къ себѣ и бросая на стулъ ручной чемоданъ съ вещами. — Думалъ, что больше домой не попаду. — Бѣдная Мэричка, какая ты стала худенькая! Да и я хорошъ. Нечего сказать, они насъ съ тобой хорошо потрепали. А знаешь что? Я адски хочу ѣсть. Накорми меня хорошенько, потомъ ванну теплую, а потомъ отдохъ на мягкой, чистой постели. О, какое это будетъ блаженство!

— Да, Вано, я это хорошо понимаю, — проговорила Марія Аполлоновна, вглядываясь въ осунувшееся лицо мужа и съ радостью замѣчая, что тюрьма не пришибла его, не отняла энергіи и бодрости.

— Ничего, Мэричка, еще заживемъ! Не такъ то легко скрутить Ваню Бочаева. Мы всѣ — Бочаевы живучи, — какъ бы отгадывая мысли жены, проговорилъ кавказецъ, встряхиваясь и разминая отяжелѣвшіе члены.

Съ возвращеніемъ мужа, Маріи Аполлоновнѣ показалось, что засвѣтилось новое солнце, которое разсѣяло послѣднія тѣни налетѣвшей на нихъ грозы...

Прошло не болѣе двухъ недѣль, и въ Петроградѣ разнеслась вѣсть о внезапномъ разстрѣлѣ известнаго слѣдователя Чудина и его пріятельницы — танцовщицы по дѣлу Бочаева и еще нѣкоторыхъ лицъ, освобожденныхъ изъ тюрьмы за крупныя взятки. Одновременно съ разстрѣломъ Чудина оба Бочаевы — мужъ и жена были вновь арестованы, и дѣло ихъ приняло скверный оборотъ, такъ какъ, помимо вины подкупа, было открыто участіе Бочаевыхъ въ новомъ дѣлѣ со спекуляціей царскими деньгами. Бочаевъ безъ суда былъ разстрѣлянъ, она же была посажена въ тюрьму на Шпалерной, гдѣ все-таки надѣялась путемъ тайныхъ услугъ списать смягченіе своей участи. Она сидѣла въ общей камерѣ. Благодаря ей предательскимъ услугамъ было открыто участіе двухъ молодыхъ жепщинъ — женъ офицеровъ въ контрреволюціонномъ заговорѣ. Обѣ безъ суда были разстрѣяны.

VI

Насталъ печальный, ужасный для Петроградцевъ, новый 1920 годъ. 15-го января вышелъ декретъ объ отмѣнѣ смертной казни. Въ дальнѣйшемъ выяснилось, что этотъ декретъ остался лишь на бумагѣ и своимъ появленіемъ стоилъ жизни шестистамъ двадцати залюченнымъ Шпалерной тюрьмы.

Было два часа ночи съ 15-го на 16-ое января. Всѣ камеры были погружены въ тотъ тревожно насторожившійся сонъ, которымъ спятъ лишь въ тюрьмѣ. Марія Аполлоповна спать не могла. Ея крѣпкій организмъ совершенно подкосился со времени вторичнаго заключенія, и вѣсть о гибели мужа отняла послѣднія силы. Она засыпала, по большей части, лишь подъ утро и вставала первая, съ вибрирующими, какъ будто оголенными нервами. Всегда прекрасно владѣвшая собой, теперь она не умѣла справиться съ непрестаннымъ желаніемъ плакать, и слезы безудержно текли вдоль ея впалыхъ отцвѣтшихъ щекъ.

Она лежала на нарахъ, съ руками, заложенными подъ голову и, глядя немигающими глазами на защищенный темно-зеленой бумагой электрическій свѣтъ, перелистывала въ умѣ всю свою, казавшуюся ей изъ тюрьмы, такую длинную-длинную жизнь, закончившуюся, какъ ударомъ молніи, — вторично.

нымъ арестомъ и гибелью мужа, безъ поддержки котораго, она чувствовала, что существовать не можетъ, такъ какъ въ тюрьмѣ она похоронила всю свою жизнеспособность и энергію для борьбы съ захлестывавшимъ страну мутнымъ потокомъ.

— Зачѣмъ я взяла на свою совѣсть смерть этихъ двухъ женщинъ? — спрашивала себя Бочаева. — Зачѣмъ я борюсь и силюсь оттянуть роковую развязку? Чего я боюсь? Какихъ-нибудь полчаса смертельного страха! Для меня жизнь окончена. Какое жалкое существованіе я стала бы владить, если бы меня освободили! Больная, нищая, съ ужаснымъ гнетомъ вѣчныхъ угрызеній совѣсти за предательство, я должна была бы принимать помощь отъ Наташи и ея мужа — повара. Наташа проболталась. Одна, безъ Вано, обратившаяся въ совершенную старуху, куда я теперь гожусь? Пусть убьютъ меня. Другіе умираютъ, умру и я. Довольно страданій...

Рядомъ на тѣсныхъ нарахъ тихо и протяжно вздохнули.

— Вы не спите, Софья Ивановна? — не измѣняя положенія и не отрывая взгляда, спросила Бочаева.

— Нѣтъ, не спится. Такая тоска на душѣ, что не знаю, что дѣлать съ собой, — шопотомъ отвѣтила Петрова, — молодая, даже и въ тюрьмѣ легкомысленная, миловидная брюнетка, сидѣвшая за то, что въ перепискѣ разстрѣлиннаго организатора-контрреволюціонера было найдено письмо отъ нея, писанное еще до войны, когда она была въ очень близкихъ съ нимъ отношеніяхъ.

— Я всегда теперь бодрствую и привыкла къ этому состоянію, а что вы не спите — это нехорошо: завтра будете совсѣмъ разбиты.

— Не все ли это равно для нашей теперешней жизни?

— Положимъ, что все равно.

— Ахъ, какая тоска! — Петрова приподнялась съ подушки и прижала къ груди обѣ руки. — Душить, давить, силъ нѣтъ!..

— Выпейте воды.

— Развѣ вода поможетъ?! Хочется на всю камеру стоять или плакать. — Петрова опять легла, зарывъ лицо въ подушку, а Марія Аполлоновна продолжала неподвижно лежать и, глядя передъ собой, думать горькія думы.

Вдругъ до ея слуха долетѣли какіе-то громкіе голоса, какъ будто топотъ ногъ, потомъ глухая гдѣ-то возня, окрики... она быстро поднялась и сѣла на нарахъ.

— Петрова, вы слышите?

— Да, слышу...

Петрова стремительно встала и, съ лицомъ, выражавшимъ смертельный испугъ, вся впила въ неясные, смѣшанные, странные и страшные звуки.

— Боже мой, что это такое?! Крикъ... Кто-то кричить...

— Что? Что случилось?.. Господи, что там творится?!

— женщины одна за другой съ замиравшимъ отъ страха сердцемъ, подымались на нарахъ.

Возня, окрики, плачь и крики нарастали и заполнили собой всю тюрьму. Изъ отрывочныхъ, среди воплей, словъ стало ясно, что тащить на смерть. Вскочившія съ наръ женщины, полуодѣтыя, съ расширенными отъ ужаса глазами, сбились въ кучу, прижимаясь одна къ другой и дрожащими руками остѣняя себя крестомъ.

Дверь съ шумомъ распахнулась и ввалилось трое вооруженныхъ солдатъ. Изъ-за раскрытой дыри въ корридорѣ вопли и крики все росли и росли, заливая непередаваемой волной всѣ корридоры и камеры.

— Эй, сколько васъ тутъ? Ну-ка, сосчитай... — обратился къ товарищу солдатъ, перебѣгая быстрымъ острымъ взглядомъ по скупившимся женщинамъ. — Разойдитесь!.. чего сбились? — грубо крикнулъ онъ.

Какимъ-то ей невѣдомымъ подсознательнымъ импульсомъ, Бочаева, стоявшая позади и прижатая къ нарамъ, однимъ движеніемъ пристѣла и быстро подползла подъ нихъ, не отдавая себѣ ни въ чемъ отчета, руководимая лишь чувствомъ дикаго страха, переполнившего все ея существо.

— Насъ тутъ двѣнадцать человекъ, — произнесъ чей-то сдавленный спазмой трепетный голосъ.

— Ладно, — скомандовалъ тотъ же солдатъ. — Коли двѣнадцать, такъ четверо впередъ. Эти двѣ, энта и вотъ ты... — солдатъ взялъ за плечо Петрову и выдвинулъ ее впередъ. — За мной? Ну-ка...

— Куда насъ? Зачѣмъ? — поняли женщины.

— Въ баню, — ослабилъ солдатъ. — Неча разговоры вести. Впередъ.

— На разстрѣлъ!.. Боже мой?! За что?.. Подождите, дайте проститься...

— Чего прощаться?! Всѣ тамъ будете, — сдвигая выбранныхъ въ одну кучу, проговорилъ хриплымъ голосомъ другой солдатъ, съ калмыцкими раскосыми глазами.

— Товарищи, оставьте меня!.. Я умоляю васъ! Я сижу здѣсь ни за что... меня слѣдователь обѣщалъ выпустить... у меня мать одинокая старуха... товарищи... голубчики!.. — Петрова; не помня себя, упала на колѣни и, съ жестомъ отчаянной мольбы, протянула впередъ руки.

— А ну тебя къ черту! — зло огрызнулся главный изъ троихъ, отобравшій четырехъ женщинъ. — Чего заголося? Въ канцеляріи разберутся. Маршъ впередъ! Пойдешь, аль нѣтъ? — Съ озлобленіемъ онъ ударилъ Петрову по плечу.

Она, пронзительно вскрикнувъ, присѣла отъ боли. Солдаты окружили четырехъ женщинъ и, толкая и ругаясь, вывели изъ камеры въ корридоръ, по которому сводили въ одну общую кучу рыдавшихъ женщинъ и мужчинъ, съ растерянными, блѣдыми, испуганными лицами. Изъ нѣкоторыхъ камеръ выволакивали, ударяя прикладами. Стоялъ стонъ, плачь, крики, солдаты топотали ногами, обутыми въ тяжелыя сапожища, стучали винтовками объ полъ... Было дико, кошмарно и кроваво-ужасно.

Марія Аполлоновна вылѣзла изъ-подъ наръ, хотѣла идти, но зашаталась и упала на нары, гдѣ, охвативъ голову руками, истерично рыдала молодая дѣвушка: черезъ открытую дверь, когда уводили четырехъ женщинъ, она видѣла въ толпѣ, проходившей мимо, свою сестру.

— Что же это такое?! — наконецъ произнесъ кто-то.

— Полъ-тюрьмы тащатъ на разстрѣлъ, а вчера конвойный сказалъ, что вышелъ декретъ объ отмѣнѣ смертной казни...

— Можетъ быть, но раньше убьютъ всѣхъ, кто въ тюрьмѣ сидитъ. Сегодня этихъ, а завтра и насъ... Господи. Господи, какой ужасъ! — Смотрите, смотрите... вотъ ведутъ мужчинъ... Сколько ихъ, Боже мой!! — воскликнула сдавленнымъ хриплымъ голосомъ, взобравшаяся на окно дѣвушка, съ распутившейся длинной косой.

— Куда ведутъ?

— Въ канцелярію... а вонъ еще!.. и еще! Толстые, два брата Толстыхъ... женщинъ ведутъ... Покровская... нѣтъ, я больше не могу, это... это... кошмаръ, адъ! — Дѣвушка соскочила съ высокаго окна и, упавъ на нары, беззвучно рыдала, вздрагивая плечами.

Всю ночь арестованныхъ отводили въ канцелярію и возвращались за новыми. Въ корридорахъ стоялъ несмолкаемый крикъ и плачь. Было совсѣмъ свѣтло, когда изъ канцеляріи стали выводить большими партіями, черезъ дворъ къ воротамъ.

— Безъ вещей увозятъ... значить, на разстрѣлъ, — глухо проговорила Марія Аполлоновна, просидѣвшая весь остатокъ ночи на окнѣ и жестоко презиравшая себя за то, что она спряталась подъ нары: она глубоко сожалѣла, что въ эту минуту, она не была среди тѣхъ, которыхъ вели черезъ дворъ къ подѣхавшимъ грузовикамъ и автомобилямъ.

— Какъ барановъ... сотнями убьютъ... господа, насъ всѣхъ переколятъ... — говорили оставшіяся, и страхъ смерти вызывалъ дрожь, пронизывалъ холодомъ.

Изъ канцеляріи мужчинъ вывели по большей части соединенныхъ, попарно ручными кандалами. Передъ отпускомъ.

каждый долженъ былъ расписаться въ своемъ смертномъ приговорѣ; каждый былъ тщательно обысканъ, тѣльные кресты отняты. Былъ отданъ приказъ выходить изъ воротъ и садиться на грузовики съ низко опущенной головой. Кто нарушалъ приказъ, того прикладомъ ударяли по головѣ. Приказъ этотъ былъ отданъ потому, что было уже десять часовъ утра, и былъ вторникъ, то есть день, когда родные и друзья приносили передачу и толпой стояли у воротъ, ожидая очереди. Приговоренный къ смерти съ опущенной головой не могъ увидѣть пришедшаго съ передачей близкаго лица, что могло бы побудить его искать защиты и тѣмъ дать толчокъ къ „уличному беспорядку.“

Подавленность и запуганность терроромъ была такъ велика, что толпу въ шестьсотъ двадцать человекъ, безъ всякаго суда, на слѣдующій день послѣ декрета объ отмѣнѣ смертной казни, вывели изъ воротъ тюрьмы на глазахъ близкихъ и друзей, стоявшихъ въ очереди. Безъ протеста съ обѣихъ сторонъ, безъ попытокъ бунта, ихъ грубо втиснули въ переполненные грузовики и повезли на убой на Николаевскій вокзалъ. Переполнивъ обезумѣвшими отъ ужаса людьми нѣсколько вагоновъ, ихъ отправили на одну изъ ближайшихъ станцій, гдѣ заставили вырыть самимъ себѣ могилы, раздѣли до нага и, какъ скотъ, всѣхъ перебили... Надъ безоружными, ни въ чемъ неповинными людьми было совершено самое гнусное, грязное и позорное дѣло...

Марія Аполлоновна, измученная, съ издерганными нервами, была вскорѣ послѣ ужасной ночи переведена въ Москву и, послѣ краткаго допроса, не смотря на свои, оказанныя въ Петроградѣ услуги, все-таки приговорена къ разстрѣлу.

Она пошла на смерть, какъ истуканъ. Не плакала, не молилась и, если бы не страшная блѣдность и дрожаніе челюстей, то можно было подумать, что она не понимала, куда ее ведутъ.

Когда ее вызвали изъ камеры, всѣ сразу догадались, въ чемъ дѣло. Поняла и она. Молча она простилась съ окружающими ее дамами. Многія плакали, осѣняли крестнымъ знаменемъ. Она сняла съ шеи крестъ, цѣпочку передала одной изъ близъ стоявшихъ, а крестъ крѣпко зажала въ рукѣ и вышла, не проронивъ ни звука.

— Мой Ваню такъ же умиралъ... умру и я... и Михаилъ Илларионовичъ шелъ изъ этой же тюрьмы, по этимъ же корридорамъ и тоже подъ утро... Это лишь возмездіе за него и за предательство.

Передъ Маріей Аполлоновной точно отдернули завѣсу, и она сразу поняла логику того, что совершалось въ страшномъ тупомъ ужасѣ, все плотнѣе и уже замыкавшемся вокругъ нея.

— Да, конечно, возмездіе! Я такъ же, какъ и онъ, испытала радость освобожденія, надежду на отдыхъ и возможность куда-нибудь скрыться... Какъ и надъ нимъ, надо мной протянулись страшныя щѣпки щупальцы Гороховой и, не давъ измученной душѣ окрѣпнуть отъ пережитаго, опять выпились, толкнувъ во мракъ тюрьмы... Я, какъ и онъ, какъ и всѣ, шедшіе передо мной по этому пути, не похожу болѣе на самое себя, не могу направить своихъ мыслей... Господи, что же это?! Неужели конецъ?!...

Марія Аполлоновна шла по безконечнымъ корридорамъ, глядя передъ собой расширенными, какъ будто далеко глядящими глазами. Она не видѣла спины ведущаго ее конвойнаго и не слышала шаговъ идущаго за ней. Исчезло пространство и время, исчезло все, что было позади. Были только тяжелыя, медленно вращавшіяся на одномъ пунктѣ мысли.

— Жизнь, вся моя жизнь, куда же ты дѣвалась? Колесо вертѣлось такъ быстро, стремилось куда-то... Что же будетъ теперь? Куда все дѣнется? Конецъ?! Какъ это страшно! Нѣтъ, это только кажется, что страшно. Вотъ уже осталось мало... Послѣ „этого“ будетъ что-то новое, непохожее ни на что, и тогда все, что было, исчезнетъ... Исчезнетъ жизнь... а я?!...

Марію Аполлоновну ввели въ ярко освѣщенную комнату, гдѣ кто-то что-то сказалъ, гдѣ она автоматически подписала на клочкѣ бумаги свою фамилію... Потомъ съ руки ея сняли простыя никелевыя часы. Зажатаго въ рукѣ крестика не замѣтили... Повели... Въ лицо пахнуло чистымъ морознымъ воздухомъ. Кто-то грубо втолкнулъ въ автомобиль, кто-то сѣлъ рядомъ... Куда-то ѣхали. Сердце замирало отъ спазматическихъ схватокъ. Вдругъ налетѣло что-то кошмарно страшное, заледенившее ужасомъ сознаніе, душу и сердце, заглянуло въ самые глаза... она дико закричала, забилась, схватилась за чью-то руку, грубо оттолкнувшую ее. Черезъ минуту въ душѣ опять все омертвѣло, стало пусто и неподвижно... Потомъ было ощущение пронизывающаго холода, пудовой тяжести въ ногахъ, которыя еле могли передвигаться по сугробамъ снѣга. Въ головѣ неслись вихремъ не то мысли, не то образы, и надъ всѣмъ этимъ неподвижно рѣялъ громадный мертвый безсловесный ужасъ. Кто-то отрывисто и грубо крикнулъ и, взявъ за плечи, остановилъ ее. Конвульсивно сжались руки и почувствовался зажатый въ ладони крестикъ. Она прижала его обѣими руками къ лицу и упала на колѣни въ мягкій, начинавшій подтаивать снѣгъ. Гдѣ-то, что-то оглушительно треснуло... раздался отрывистый крикъ, похожій на вопль... Жизнь оборвалась.

VII

Душа Вероники начала переполниться страданіемъ за голоднаго брата, кротко и терпѣливо переносившаго вмѣстѣ съ ней голодъ и холодъ въ промерзлой квартирѣ, и за окружающихъ ее голодающихъ, замерзающихъ, гибнущихъ въ тюрьмахъ и подъ разстрѣлами людей. Въ то же время душа болѣла, глядя на жестокой эгоизмъ тѣхъ, которые въ это ужасное, небывалое, переполненное общимъ страданіемъ время оставались все тѣми же неизмѣнно черствыми, эгоистичными людьми. Прежде этотъ эгоизмъ и черствость проявлялись въ умѣніи отгородить себя отъ всего и отъ всѣхъ, кто могъ бы чѣмъ-либо нарушить пріятное, сытое и удобное существованіе. Они отстранялись отъ родственниковъ и друзей, которымъ могла быть нужна ихъ протекція или поддержка. Они устраивали свою жизнь такъ, чтобы встрѣчаться и имѣть общеніе лишь съ подобными себѣ сытыми, богатыми и довольными людьми. Все, что стояло внѣ этого круга, изгонялось изъ ихъ жизни, какъ неудобный и скучный элементъ, могущій доставить непріятныя минуты.

Теперь положеніе круто измѣнилось, но психологія осталась у многихъ все та же. Если подлѣ нихъ погибалъ человѣкъ отъ голода, то они старались не видѣть этого, а если видѣли, то соболѣзновали, дѣлали огорченное лицо, но ни за что не дѣлились запасами, которые, по своей эгоистичной дальновидности, сумѣли сохранить. Если близкій другъ или знакомый замерзалъ въ своей квартирѣ, они приглашали грѣться къ себѣ, но имъ и въ голову не приходило хотя бы за деньги дать вязку дровъ изъ своихъ нѣсколькихъ сажень. Если друзья ихъ попадали въ тюрьму, — они горестно покачивали головами и, забывая, что въ данное время тюрьма — это вопросъ очереди, отстраняли отъ себя заботу, изъ жадно хранимыхъ запасовъ, хоть что-нибудь отпести въ тюрьму въ день передачи, такъ тоскливо ожидаемой голодными заключенными. Они знали, какъ велико въ тюрьмѣ страданіе отъ голода, но, соболѣзнующие наружно, въ душѣ оставались равнодушными. Эти люди умѣли какъ-то добывать себѣ то муку, то картофель, то изъ какого-то кооператива — патокъ, сушеные овощи. Они съ озабоченнымъ видомъ тащили на саночкахъ или на плечахъ свои мѣшки домой, безразличные ко всему, за исключеніемъ своего желудка. Этотъ сортъ людей, — специфическій продуктъ бывшей блестящей, холодной столицы, неизмѣнно продолжалъ жить, хоть и въ иной, совершенно покривившейся рамкѣ, но все съ той же, отталкивавшей Веронику, узкой и эгоистичной жизнью. Не разъ думала она

о томъ, что совершающіеся жестокости по отношенію буржуазнаго класса имѣютъ въ своей основѣ ненависть, порожденную въ массахъ именно такого сорта людьми. Въ былое время, вздвившіе въ каретахъ и жившіе въ хоромахъ, окруженные роскошью и прихотями, они не желали знать и, помпѣй, что вокругъ нихъ, въ тѣхъ же самыхъ домахъ, гдѣ они жили, въ темныхъ и сырыхъ подвальныхъ этажахъ люди голодали, болѣли и зябли.

Прежняя столица была полна изнуренными голодомъ и холодомъ людьми, съ опухшими отъ холода пальцами рукъ и ногъ, съ изжелта одутловатыми лицами, съ особеннымъ напряженнымъ взглядомъ отъ постоянного голода, который началъ доходить до тѣхъ размѣровъ, когда въ культурномъ человѣкѣ начинаетъ замирать все, кромѣ настойчиваго, требовательнаго мучительнаго желанья ѣсть.

Вероника начала упорно обдумывать планъ бѣгства изъ Россіи. Оставаться дольше въ странѣ, гдѣ голодъ, холодъ и терроръ уничтожали населеніе, она не считала возможнымъ и предпочитала рискъ — вѣрной смерти. Она все чаще и чаще вспоминала князя Олега Сурова, о которомъ ничего не знала. Когда и гдѣ встрѣтятся они? И встрѣтятся ли? Невольный тяжелый вздохъ вырывался изъ груди Вероники. Настоящее ея было такъ трагично; будущее скрывалось за густымъ туманомъ всевозможныхъ случайностей и событій, которыхъ предвидѣть въ этомъ хаосѣ было совершенно невозможно.

Однажды, глядя на холодный, но уже живительный обѣщаніями весны лучъ солнца, игравшій гранями хрустальнаго кубка на туалетѣ, она обратилась къ брату:

— Знаешь ли, дружокъ мой, я рѣшила поскорѣе все ликвидировать. Всѣ эти дни я слышу, что многимъ удастся перейти границу Финляндіи. Пора и намъ. Ты что думаешь?

— Конечно, пора. А какъ мы это сдѣлаемъ?— У мальчика загорѣлись глаза.

— Надо послать за поваромъ, что женатъ на бывшей горничной Бочаевой. Онъ общалъ это устроить, если мы рѣшимся на бѣгство черезъ границу Финляндіи.

— Мы какъ будемъ пробираться: пѣшкомъ? — въ воображеніи мальчика уже рисовалась фантастическая картина путешествія, со всякими опасностями и затрудненіями.

— Онъ говоритъ, что на розвальняхъ.

— Ну, это не такъ интересно! Я думалъ, что надо будетъ ночью пѣшкомъ пробираться.

— Можетъ быть и такъ, я не спрашивала. Вчера мнѣ говорили, что одна многочисленная семья благополучно проскочила на розвальняхъ. Шестаковъ съ женой и сыномъ

тоже прошли. Говорятъ, они пошли пѣшкомъ изъ Ораніенбаума моремъ, съ салазками для ручного багажа. Но для этого надо очень хорошо знать направленіе, не то можно наскочить на часового возлѣ форта. Для насъ этотъ путь безъ вѣрнаго провожатаго невозможенъ.

— Только ужъ ты не передумай, Ника.

— Нѣтъ, дружокъ, я твердо рѣшила. Какъ только скажутъ, что можно, такъ мы съ тобой и отправимся въ это опасное путешествіе. Ты не боишься?

— Ничуть. Чѣмъ опаснѣе, тѣмъ лучше,

— А если попадемся и насъ арестуютъ? Тогда, вѣдь, дѣло плохо. Тюрьма, принудительныя работы... Ты все-таки подумай, мой мальчикъ; это рискъ. Я не о'себѣ хлопочу: главное — это ты.

— Я на все готовъ. Все равно такъ жить мы долго не можемъ. Я на все согласенъ. Я не боюсь.

— Въ такомъ случаѣ — бѣжимъ. Смѣлымъ Богъ владѣетъ, не правда ли?! — Вероника обняла брата, и было рѣшено начинать приготовленія къ опасному путешествію.

Поваръ Тирбуновъ очень обрадовался, узнавъ о рѣшеніи художницы. Она предложила ему вселиться въ ея квартиру и пользоваться ея обстановкой до того неизвѣстнаго срока, пока она вернется.

Она была увѣрена, что поваръ совѣтской столовой сумѣетъ сберечь ея вещи, имѣя друзей комиссаровъ и коммунистовъ.

Ликвидировалось на скорую руку все, что возможно. Сонечка приводила какихъ-то спекулянтовъ; за деньги, масло и хлѣбъ они покупали вещи, спросъ на которыя въ городѣ уже не существовалъ. Простыя бабы брали полковые Парижскіе туалеты, накидки и шарфы; примѣряли, сисясь напаялить на безформенныя ноги, цвѣтныя шолковыя туфли; охотно брали шолковыя и кружевыя юбки и блузки, тонкое батистовое и шолковое бѣлье, разныя ненужныя мелочи, статуэтки, плюшевыя драпировки, гостинныя подушки и даже картины и зеркала.

Поваръ то и дѣло забѣгалъ къ художницѣ, чтобы держать ее въ курсѣ дѣла. Его знакомый финнъ, ушедшій съ кѣмъ-то въ Финляндію, до сихъ поръ не возвращался, но онъ предлагалъ Вероникѣ воспользоваться не менѣе вѣрной оказіей перейти границу съ сыномъ хорошо знакомаго ему торговца. Вероника колебалась. Поваръ увѣрялъ, что никакого риска нѣтъ, такъ какъ торговецъ посылаетъ мальчишку сына въ Финляндію съ крупными деньгами и сопровождать его будетъ молочникъ финнъ, котораго

торговецъ знаетъ много лѣтъ по торговымъ сношеніямъ въ Финляндіи и ручается за него.

Вероника просила, чтобы торговецъ вмѣстѣ съ сыномъ пришли бы къ ней. Они явились. Сынъ, — лѣтъ семнадцати, былъ совсѣмъ простоватый деревенскій паренъ, очевидно, слѣпо подчинявшійся отцовской волѣ и соглашавшійся идти черезъ границу безо всякихъ разсужденій. На вопросы Вероники онъ глупо ухмылялся, пожималъ плечами и повторялъ одно и тоже:

— Отецъ лучше знаетъ... Это ужъ какъ отецъ распорядится... Мнѣ ни къ чему, — какъ отецъ скажетъ.

Торговецъ — дородный мужчина, типъ бывшаго хозяина „зеленой и курятной“, въ высокихъ сапогахъ, мѣховомъ короткомъ пальто, съ подстриженной бородкой и сильно плутоватыми, умными, остро-глядящими глазами, произвелъ на Веронику впечатлѣніе обстоятельнаго человѣка, ворочающаго крупными деньгами, добываемыми торговой спекуляціей.

Онъ истово перекрестился на образъ, сѣлъ на указанный ему стулъ, разставивъ ноги и положивъ шапку на колѣно, и толково, неторопливо сталъ объяснять планъ путешествія.

— Коли сына довѣряю финну, такъ ужъ тутъ безпокоиться и сумлѣваться вамъ нечего-съ, — пояснилъ онъ. — Финнъ этотъ хорошо и давно мнѣ извѣстенъ. Откроется граница, — опять будетъ со мной дѣла дѣлать. Онъ черезъ границу проведетъ и на своей лошади доставитъ васъ въ Теріоки. Тамъ у меня дачка, какъ есть полная чаша. Если угодно, — можете въ ней пока что и пожить. За переходъ черезъ границу уплатить финну за двоихъ вамъ придется восемьдесятъ тысячъ совѣтскими, да съ меня онъ, значить, получитъ сорокъ, итого сто двадцать тысячъ. Деньги не малыя, ну и услуга, къ слову сказать, не малая, потому вамъ, коли я не ошибаюсь, надо для вашихъ дѣлъ ухъать, а намъ не токмо для нашихъ дѣлъ, а и побольше того. — Торговецъ многозначительно посмотрѣлъ на художницу.

— Понимаю васта, что дѣло?...

— Общее-съ. Мы терпежъ, значить. Коли для парода революція, такъ и для парода, а не то что обдирають тебя — мушкетера на всѣ корки, и ты не пикни, потому сейчасъ тебѣ разстрѣлу. Отобрали лошадей всѣхъ и коровъ; какіе запасы были — отняли. Зерно съ посѣва тоже изволь отдать столько то пудовъ съ души, и картошки, и капусты. Какая же тутъ свобода, помилуйте! Накалены мы супротивъ нихъ шибко. Дай только срокъ. Время придетъ, такъ мы спуску не дадимъ.

— А я думала, что народъ доволенъ правительствомъ, которое самъ же и избралъ, — насмѣшливо проговорила Вероника.

— Нешто народъ избралъ?! Все было поддѣлано. А народъ, крестьянство, значить, получилъ готовое. Замѣсто Царя намъ Троцкаго дали. Какая же это республика?... Такъ, значить, заготовьте-съ денежки. Велики ужъ больно! — со вздохомъ произнесъ онъ, вставая.

Крупная сумма не испугала Веронику. Вещи, деньги — все потеряло свою цѣнность въ кошмарной обстановкѣ переживаемой зимы. Терроръ, вѣчные обыски, аресты, уничтоженіе собственности, прикрѣпощеніе къ мѣсту своего жительства, полная невозможность снестись съ разорванными, растерянными по всей Россіи членами семьи и друзьями, и при этомъ голодъ и холодъ обезцѣнивали все, кромѣ жажды свободного покоя въ какой угодно скромной, лишь-бы нормальной обстановкѣ.

Чѣмъ ближе казалась возможность освобожденія, тѣмъ ярче и заманчивѣе рисовались картины культурной жизни, казавшейся теперь недосыгаемымъ счастьемъ.

— А вы знаете, что переходъ черезъ границу очень опасенъ, и если насъ поймаютъ, то засадятъ въ тюрьму, — предостерегала Вероника торговца.

— На счетъ этого будьте благонадежны, — успокоилъ онъ. — Финнъ дорогу знаетъ хорошо, и мнѣ доподлинно извѣстны лица, которыхъ онъ уже доставилъ туда.

— А какимъ путемъ мы отправимся?

— Кажись, черезъ Шувалово.

— Это невозможно. Я знаю навѣрное черезъ одного бѣлогвардейскаго развѣдчика, который на дняхъ благополучно пробрался сюда, что путь черезъ Шувалово самый опасный, такъ какъ тамъ вездѣ разставлены большевистскіе пикеты. Онъ говорилъ, что лучше всего по направленію станціи Токсово. Скажите это вашему финну.

— Можно сказать. Пусть хорошенько обладить дѣло, чтобы, значить, безо всякихъ безпокойствъ. Онъ общался сегодня прійти ко мнѣ съ товарищами переночевать, такъ я ему растолкую насчетъ Токсово.

— Непремѣнно. Вѣдь я рискую не только собой, но, главнымъ образомъ, моимъ братомъ.

— Ясное дѣло. Вы, значить братомъ, а я — сыномъ. Тутъ семь разъ примѣръ. пока отрѣжешь. Такъ, значить, такъ и порѣшимъ: какъ все готово, такъ и въ путь. Примѣрно черезъ недѣлку?

— Да, черезъ недѣлю мы будемъ готовы. Кстати и дни становятся теплѣе.

Держа ото всѣхъ втайнѣ предстоящее бѣгство черезъ опасную границу, Вероника сказала объ этомъ лишь самымъ близкимъ друзьямъ.

Анна Федоровна Рязанцева и ея мать отнеслись къ этому сообщенію очень пессимистично:

— Ахъ, что вы затѣяли! — заволновалась старушка. — Теперь, я слышала, это очень опасно, такъ какъ большевики зорко слѣдятъ за линіей фронта, проникнувъ, что нѣкоторымъ лицамъ удалось пробраться. Хорошо ли вы знаете этого финна?

— Совсѣмъ не знаю. Его хорошо знаетъ торговецъ.

— А торговца знаете?

— Тоже не знаю, но его очень рекомендуетъ мужъ Наташи, о которой я вамъ говорила.

— Нѣтъ, милая, что хотите, а это безуміе довѣрять свою судьбу какимъ-то двумъ мужикамъ, которыхъ вы совершенно не знаете. Кто ихъ знаетъ, что они за люди?!

— Да вѣдь торговецъ не станетъ рисковать сыномъ и большими деньгами, если бы онъ не былъ увѣренъ въ честности финна, — доказывала Вероника, смутно сознавая справедливость опасеній.

— Не знаю, я бы ни за что не рискнула и вамъ не совѣтую. Мнѣ рассказывали, что двѣ дамы, такимъ образомъ ушедшія въ Финляндію, оказались гдѣ-то или въ Шуваловѣ или въ Озеркахъ въ тюрьмѣ. Это я знаю навѣрное; мнѣ называли ихъ фамиліи.

У Вероники чувство сомнѣнія усиливалось. Предостерегавшіе голоса старушки Гельмъ и Рязанцевой поколебали ея рѣшимость, но вернувшись домой, она улыбнулась неосновательности страховъ своихъ друзей: было рѣшено, что деньги финнъ получить отъ торговца не ранѣе, чѣмъ принесетъ ему записочку отъ художницы, что они благополучно перенесли границу.

Поваръ Тирбуновъ рассказывалъ, что онъ видѣлъ у торговца финна и его товарища.

— Своими глазами видѣлъ этого финна на дняхъ, — говорилъ поваръ. — Ничего, человекъ, по всему, надежный. Ну, и закутили же въ эту ночь шибко! Коньячички здоровую бутылку выдудили.

— Коньяку? — поразилась Вероника. — Гдѣ же вы его могли достать?

— За деньги чего не достанешь! — ухмыльнулся поваръ. — А денегъ этихъ у Захара Лаврентьевича сколько хошь. Они всѣ Ярославскіе, народъ ловкій. И по сейчасъ черезъ его руки бочками сливочное масло проходитъ, телятина, сало и свинина.

— Вы какія-то чудеса рассказываете. Куда же это идетъ? Кто покупаетъ?

— А мало ли тутъ всякихъ спекулянтовъ, комисаровъ, да коммунистовъ. Они ѣдятъ теперь, какъ раньше не всѣмъ господамъ удавалось. Такъ вотъ; значить, мы это кутили, а дѣла тоже не забывали. Финну этому мы насчетъ Токсова указали. Онъ говоритъ, что дорога черезъ Шувалово ему извѣстна, и хотя пикеты тамъ есть, но для него это ровно ничего не значить, потому люди всѣ эти ему хорошо извѣстны. Черезъ Токсово тоже, говоритъ, пройти можно. Обѣщаль на дняхъ извѣстить и тогда порѣшить день для отправки.

— Мнѣ безразлично. Я готова.

— Такъ, значить, скоро я и переберусь въ эту квартиру. Послѣ вашей обстановки наша не больно казиста, — улыбнулся поваръ.

Вероника старалась не останавливаться на обидной мысли, что среди любимыхъ художественно подобранныхъ вещей будутъ жить некультурные люди, немогущіе ни понять, ни оцѣнить тонкой атмосферы, созданной ею въ уютномъ гнѣздѣ.

Заятая сборомъ въ опасное путешествіе и скучнымъ дѣломъ ликвидаціи всякихъ мелочей, она каждый день собиралась пойти къ своимъ любимымъ старикамъ — теткѣ и дядѣ и каждый день что-нибудь мѣшало. Послѣ свиданія съ торговцемъ, она рѣшила немедленно пойти попрощаться съ ними, такъ какъ ея бѣгство должно было произойти въ одинъ изъ самыхъ ближайшихъ дней.

На утро она встала озабоченная:

— Сегодня мнѣ снился одинъ изъ такихъ сновъ, которые я называю пророческими. Боюсь, что съ дядей что-нибудь случилось.

— Я увѣренъ, что все благополучно, иначе тетя дала бы намъ знать, — замѣтилъ братъ.

— Съ кѣмъ она можетъ дать знать? Кто пойдетъ? Теперь люди одиноко умираютъ, кто-то, какъ-то ихъ хоронить и никто не знаетъ объ этомъ. Ты слышалъ объ ужасномъ случаѣ съ профессоромъ Капустинымъ? Его повезли хоронить на саночкахъ двѣ родственницы. Страшно замерзли. Зашли куда-то погрѣться, оставивъ гробъ на салазкахъ подлѣ воротъ. Когда онѣ вышли, то ни гроба, ни саночекъ не оказалось. Воръ соблазнился саночками, которыя теперь всѣмъ такъ нужны, гробомъ, который можно на дрова употребить и платьемъ покойника. Такъ нигдѣ и не нашли бѣднаго профессора, и только благодаря этому совершенно дикому случаю Петроградъ узналъ о кончинѣ заслуженнаго ученаго.

Мальчикъ звонко расхохотался:

— Уворовали покойника! Вотъ такъ штука! Куда же его дѣли, интересно знать?

Вероника вмѣстѣ съ братомъ до изнеможенія стучали въ дверь квартиры стариковъ. Никто не отзывался. Они рѣшили постучать въ дверь напротивъ. На стукъ дверь слегка приоткрылась, высунулась чья-то всклокоченная сѣдая голова, и сердитый голосъ спросилъ:

— Вамъ что надо?

Не давъ договорить до конца, голосъ буркнулъ:

— На верхъ перебрались въ седьмой номеръ. — Дверь захлопнулась.

Поднялись на верхъ. Открыла пожилая женщина, съ плаetchкомъ на головѣ.

— Здѣсь, здѣсь, пожалуйста. Анастасія Ивановна и то намедни про племянницу вспоминали, — слащавымъ голосомъ проговорила она и изъ кухни провела корридоромъ.

— Къ вамъ гости, — сказала она, открывая дверь.

— Пожалуйста, — раздался изъ-за шкапа слабый голосъ.

Вероника и братъ вошли въ свѣтлую, довольно теплую маленькую комнату, гдѣ, отгороженная шкапомъ, лежала на опрятно постланной кровати Анастасія Ивановна. Кромѣ кровати, комода и столика ничего не было. У Вероники упало сердце.

— А дядя? — спросила она, останавливаясь и мѣняясь въ лицѣ.

— Умеръ онъ, милая: три дня, какъ его схоронили. Подойди же ко мнѣ. Я рада, что ты пришла. Дать знать было не съ кѣмъ. Умеръ мой старикъ... Заснулъ... Легъ отдохнуть и не всталъ больше. Царствіе ему небесное. Не плачь, Ника. Надо Господа благодарить, что призвалъ его. Какую тяжелую жизнь онъ велъ это послѣднее время! Я страдала, на него глядя. Не подь силу ужъ было старику... голодалъ сильно, — шелестѣлъ слабый голосъ Анастасіи Ивановны.

— Какъ больно! — Вероника, вытирая слезы, сѣла на постель подлѣ тетки.

— Такой умный, такой чудный былъ старикъ! Умереть отъ холода и истощенія! Какая трагедія!

— Да, хоть онъ и бодрился и не жаловался, но, конечно, въ его годы выдерживать дольше такую жизнь было невозможно. Большевики позорно поступили со стариками сенаторами: всѣхъ выбросили на улицу, отнявъ пенсіи и не давъ вспомошествованія.

— Расскажите, тетя милая, какъ съ дядей было? Какъ его похоронили? — спросилъ Андрюша, сразу притихшій, огорченный смертью старика.

— Да вотъ, принесъ обѣдъ мнѣ, покормилъ и легъ отдохнуть. Шубы не снялъ, чтобы согрѣться. Было совсѣмъ уже поздно, когда я рѣшила разбудить его, удивленная, что онъ такъ долго не просыпается. Бужу, бужу, — онъ не встаетъ. Я слѣзла съ кровати, ощупью нашла спички, зажгла нашу лампадочку, подошла къ нему и, представъ себѣ, Ника, вдругъ сразу поняла, еще не дотрагиваясь до него, что онъ лежитъ мертвый.

— Вы испугались, тетя?

— Нѣтъ, голубчикъ. Я перекрестила его и, положивъ ему руку на лобъ, стала на колѣни и прочла молитву. Трое сутокъ онъ такъ лежалъ. Некому было обмытъ.

— И вы не боялись, тетя, оставаться съ нимъ въ одной комнатѣ? — При этомъ вопросѣ у мальчика испуганно расширились глаза.

— Нѣтъ, дружочекъ, я совсѣмъ не боялась. Вѣдь мы съ нимъ пятьдесятъ лѣтъ прожили. Мнѣ казалось, что онъ спитъ. Наконецъ, дали знать нашей пріятельницѣ матушкѣ. Она пришла и все тутъ устроила съ отцомъ Николаемъ. Я рада, что матушкѣ удалось продать его пальто и купить ему гробъ, а не брать на прокатъ. Теперь по большей части, какъ я узнала, гроба на прокатъ даются, и въ могилу кладутъ прямо такъ. Схоронили его, и я убѣдила отца Николая перебраться сюда и взять меня къ себѣ жилищей. Отдала въ распоряженіе матушки всѣ вещи мои и какія остались послѣ Петра Александровича. Пусть сама продастъ и дѣлаетъ, какъ хочетъ, лишь бы мнѣ не быть одной. Теперь я чувствую себя лучше, потому что они меня кормятъ и комнату топятъ. И имъ хорошо, и мнѣ хорошо.

— Конечно, тетя, вы правы, — согласилась Вероника. — Что толку отъ всѣхъ вашихъ вещей, когда въ желудкѣ спазмы отъ голода.

— Сколько разъ я говорила это Петру Александровичу и совѣтовала ему дѣлать то, что теперь сдѣлала. Онъ все откладывалъ, надѣялся, что вещи понадобятся для продажи въ отъѣздъ на югъ, а я знала, что не доживемъ мы ни до какого отъѣзда. Все равно! Я давно смирилась и вмѣсто слезъ радуюсь, что мой старикъ освободился отъ этой жизни, которую ему пришлось совершенно незаслуженно терпѣть въ такіе преклонные годы. И самъ-то былъ голодный, старый и совершенно ослабѣвшій, а тутъ со мной возись. Теперь и ему хорошо, и мнѣ лучше. Скоро и я за нимъ отправлюсь...

Узнавъ, что Вероника и Андрюша пришли проститься, Анастасія Ивановна тяжело вздохнула, но высказалась въ пользу ихъ рискованнаго предпріятія:

— Тутъ оставаться могутъ только такія калѣки уми-
рающія, какъ я или сытые комисары и коммунисты, а здо-
ровымъ и честнымъ людямъ тутъ не мѣсто. Пусть Господь
поможетъ вамъ благополучно перебраться.

— Вотъ и не стало больше нашего чудеснаго старика,
— тяжело вздохнула Вероника, возвращаясь домой. — Какой
онъ былъ цѣльный, благородный и чистый! Никогда и ни въ
чемъ не покривилъ совѣстью. Это былъ чистой воды и въ
широкомъ смыслѣ — либераль. Онъ уважалъ личность каж-
даго человѣка, совершенно независимо отъ его рожденія и
соціального положенія. Именно такіе люди нужны для новаго
строительства, а ими пренебрегли и ускорили ихъ смерть.
Милый дядя! Память о тебѣ останется для насъ свѣтлой и
чистой, какимъ ты былъ самъ. Не правда ли, мой дружокъ?

Братъ молча наклонилъ голову. Прійдя домой, онъ дос-
талъ запрятанную шкатулочку съ маленькими шахматами —
подарокъ Петра Александровича, — пересмотрѣлъ ихъ, береж-
но завернулъ и положилъ въ спортсменскій спинной мѣшокъ,
который предназначался для путешествія.

VIII

Вероника всю ночь совсѣмъ не ложилась спать, такъ
какъ съ вечера ей дано было знать, что отъѣздъ назначенъ
на утро въ десять часовъ. Какъ это всегда бываетъ, сколько
бы ни собирались, — въ послѣднюю минуту оказалось много
срочнаго дѣла. Братъ съ собой можно было лишь ручной
багажъ, каждому по два. Расчитывая на помощь фивна, Ве-
роника бережно укладывала ящикъ съ наиболѣе цѣнными
эскизами и нѣсколькими небольшими законченными полотнами.

Мальчикъ, сложивъ въ спинной мѣшокъ свои драгоцен-
ности въ видѣ нѣсколькихъ морскихъ книгъ и любимыхъ
вещицъ, напившись около полуночи горячаго кофе, улегся
въ своемъ уголку, радостно мечталъ о предстоящемъ интерес-
номъ по своей опасности путешествіи, а затѣмъ о новой
сытой, теплой и культурной жизни.

Къ двумъ часамъ ночи электричество потухло. Послѣд-
няго запаса свѣчей жалѣть было нечего, и онѣ горѣли до
утра въ холодныхъ, необитаемыхъ за всю зиму комнатахъ,
съ разбросанными повсюду вещами, съ открытыми ящиками
и шкапами. Уже начинало сѣрѣть мглистое сѣрое утро, ког-
да Вероника, съ опавшимъ отъ переутомленія лицомъ и лихо-
радочно блестящими глазами, въ изнеможеніи оглядѣла
грудю неубранныхъ вещей:

— Сонечка, я не успѣю, — опускаясь на кресло и

закидывая руки за утомленную безсонницей голову, произнесла она.

— Вы не беспокойтесь о вещахъ, которыя съ собой не берете: я ихъ всѣ аккуратно приберу и ключи спрячу. Укладывайте свой сакъ. Вотъ золотыя ложечки; вы ихъ съ собой возьмете?

— Обязательно. Деньги будутъ нужны, такъ я ихъ тамъ и продамъ.

— Вотъ всѣ ваши кольца и брошка. Заграничная пудра и духи. — Торопливо отбирала Сонечка изъ груды сваленныхъ изъ туалетнаго ящика вещей.

— Сюда ихъ кладите. Зеркало не надо, оно слишкомъ тяжелое. Шолковые чулки давайте, а простые себѣ можете взять. Перчатки сюда. Куда же этотъ пакетъ? Это что?

— Шарфы ваши Парижскіе.

— Господи, куда я все это заберу? И безъ того сакъ полонъ.

— Вотъ чай и сахаръ. Возьмите обязательно. А суэтеръ Андрюшинъ берете?

— Непремѣнно.

Пробило семь.

— Боже мой, уже семь часовъ! Какъ я устала!..

— Теперь почти все уложено. Остались только деньги, паспортъ и вотъ эти бумаги. Пока вы уложите, я сейчасъ растоплю печечку и приготовлю кофе и воды теплой вамъ умыться. А чѣмъ топить? Ни одной лучинки больше нѣтъ.

— Разрубите кухонную скамейку.

— Давно всѣ сожжены. Въ кухнѣ ничего больше не осталось.

— Рубите столъ изъ передней. Жалѣть нечего. Надо согрѣться, — я совсѣмъ застыла въ этихъ промерзлыхъ комнатахъ, — говорила Вероника. — У меня какая-то пустота въ головѣ. Я была бы очень рада отложить... Но ужъ теперь поздно: въ десять часовъ за нами прійдутъ.

Не смотря на обмываніе и горячій кофе, Вероника къ десяти часамъ утра чувствовала себя еще больше разбитой. Въ головѣ ощущалась странная непріятная пустота, глаза и губы томительно горѣли. Отѣздъ изъ дому произошелъ какъ въ тяжеломъ снѣ.

Явился сынъ торговца съ какими-то громаднаго роста двумя финнами. Они зорко оглядѣли все вокругъ, быстро подхватили вещи и заторопили, чтобы не опоздать къ поѣзду.

Вероника съ грустью окинула взглядомъ въ послѣдній разъ свою квартиру, выглядѣвшую безпорядочно, неуютно и показавшуюся ей совершенно чужой.

Она пошла впереди, торопясь взять билеты по пропуску, сунутому ей въ руки однимъ изъ финновъ. Андрюша и Сонечка остались далеко позади, такъ какъ вещи, сложенные на саночкахъ, по дорогѣ развалились. Билеты на станцію „Грузино“, слѣдующую послѣ „Токсово“, по предъявленному пропуску, были выданы безъ всякихъ недоразумѣній. Поѣздъ отходилъ съ опозданіемъ и долго ждали чего-то на платформѣ. Финнъ объяснилъ, что хлопочетъ о мѣстахъ въ служебномъ вагонѣ. Когда сказали, что можно садиться, то Вероника услышала чей-то голосъ, проговорившій гдѣ-то близко отъ нея:

— Развѣ вы не видите, что это вагонъ не для пассажировъ? Будьте осмотрительны. Здѣсь ѣдутъ только служащіе.

Она не обратила вниманія на эти слова, взошла въ вагонъ и сѣла на лавку.

Служебное отдѣленіе было полно какими-то странными людьми съ непріятными лицами. Особенно непріятны показались художницѣ рядомъ сидѣвшая съ ней женщина, маленькая, щуплая, съ острымъ взглядомъ узенькихъ глазъ. нѣсколько разъ пытавшаяся заговорить съ ней, и читавшій газету человекъ въ военной формѣ, бросавшій на Веронику косые, тяжелые взгляды.

Она взяла руку брата, зажала въ своей и закрыла глаза. Въ головѣ было пусто, на сердцѣ — холодно.

Поѣздъ шелъ медленно, съ частыми остановками. Поднявъ отяжелѣвшія вѣки, Вероника прямо передъ собою увидѣла сидѣвшихъ на полу двухъ людей въ финскихъ кожаныхъ шапкахъ, переговаривавшихся между собой и разглядывавшихъ ее и ея брата. Она отвела взглядъ въ сторону и увидѣла молодого солдата съ винтовкой, сидѣвшаго на корточкахъ противъ горѣвшей, въ видѣ широкой трубы, печки. Ея усталый мозгъ плохо воспринималъ внѣшнія впечатлѣнія и не сливалъ въ одно цѣлое разрозненные факты. Два сопровождавшіе ихъ финна сидѣли поодаль на лавкѣ и вполголоса все время перешептывались съ входившими на станціяхъ другими финнами. У каждого изъ нихъ была за спиной жестянка для молока или какіе-то кульки. Въ послѣднее время Петроградъ кишѣлъ подобнаго рода финнами. Вероникѣ они безпрестанно попадались на улицахъ и не разъ вполголоса таинственно предлагали то молоко, то муку.

— Ника, черезъ нѣсколько часовъ и мы будемъ пить молоко. Я выпью сразу не меньше трехъ стакановъ, — нагибаясь къ уху сестры и глядя на большія молочныя жестянки, проговорилъ мальчикъ. Сестра слабо улыбнулась. Она продолжала сидѣть съ закрытыми глазами.

Поѣздъ остановился. Высокій длинноносый финнъ, съ помощью своего товарища, молча взялъ сакъ и ящикъ съ картинами и пошелъ впередъ. Сынъ торговца — Николай, засунувъ руки глубоко въ карманы полушубка, съ небольшимъ мѣшкомъ, привязаннымъ за спиной, выскочилъ на платформу, глупо ухмыляясь и поглядывая вокругъ себя. Андрюша несъ сакъ сестры, идя рядомъ съ ней.

— Куда же теперь? — обратился онъ къ Николаю.

— А вотъ сейчасъ розвальни подадутъ. Финнъ говорилъ, что по дорогѣ въ деревню заѣдемъ для чего-то. Лошадей тамъ, что ли, дадутъ.

Скрывшійся было финнъ вынырнулъ изъ-за водокачки.

— Можно садиться, — таинственно проговорилъ онъ, указывая на подѣхавшія розвальни, на которыхъ уже были сложены всѣ вещи.

Усѣлись на двое розвальней, покрытыхъ соломой. Сытые буланые лошади рѣзвой рысцой побѣжали по извилистой дорогѣ, покрытой рыхлымъ метронутымъ снѣгомъ. Въ яркомъ солнечномъ днѣ, переливаясь и искрясь, разстилалась даль снѣжныхъ полей. Воздухъ былъ необычайно мягокъ и чистъ, напоенный запахомъ свѣжаго снѣга. Щурясь на яркое солнце, художница съ умиленіемъ глядѣла на свѣтлое голубое небо съ отдаленной грядой легкихъ облаковъ, на синѣвшую линію хвойнаго лѣса и на бѣлый чистый покровъ полей. Она такъ долго была лишена этихъ картинъ природы, что, вдыхая животельный, бодрящій воздухъ, забыла и свое переутомленіе и опасную обстановку путешествія.

— Хорошо, Андрюша? — обернулась она къ брату.

— Вотъ бы сейчасъ на лыжахъ! — улыбаясь природѣ, проговорилъ мальчикъ. Спустивъ ноги на край розвальней, онъ слѣдилъ за двумя извивавшимися спѣжными бороздами, бѣгущими во слѣдъ розвальней.

Финнъ — товарищъ проводника — сидѣлъ рядомъ съ мальчикомъ — возжикомъ и переговаривался съ нимъ на своемъ языкѣ. На вопросъ Андрюши, далеко ли ѣхать, нехотя отвѣтилъ, что верстъ пять. Николай ѣхалъ вслѣдъ за ними. Глупая блаженная улыбка не покидала его лица. Развальясь на соломѣ, онъ глядѣлъ въ небо и жевалъ кусокъ хлѣба.

Не доѣзжая до небольшого моста, оба финна соскочили, побѣжали къ стоявшему подлѣ рогатки солдату съ винтовкой, что-то переговорили съ нимъ, и розвальни были пропущены.

Какая-то неясная мысль удивленія мелькнула въ умѣ Вероники.

— Вѣроятно, подкупленъ, — такъ же слабо промелькнулъ отвѣтъ.

Подѣхали къ избѣ. Финнъ объяснилъ, что здѣсь падо подождать другихъ лошадей. Изба была очень просторная. Топилась печь, и на ней кипѣлъ большой мѣдный чайникъ съ кипяткомъ. Оказалось, что можно получить молока и выпить кофе, котораго Сонечка запасливо положила въ коробочку.

Вероника, ободренная ѣздой на чистомъ воздухѣ, принялась устраивать завтракъ: достала масло и сахаръ, заказала побольше молока и налила въ стаканы кофе. Появились въ избѣ какіе-то люди въ мѣховыхъ шапкахъ и кожаныхъ курткахъ, молча сѣли поодаль и своимъ присутствіемъ удивляли Веронику. Она предложила имъ кофе. Кромѣ одного, трое согласились. Пили кофе, брали сахаръ, наливали себѣ молоко, подробно рассказывали о дешевыхъ цѣнахъ на продукты въ Финляндіи.

— А далеко отсюда граница? — Спросилъ Николай.

— Восемь верстъ. Вечеромъ будемъ въ Финляндіи.

— Ника, подумай, какое счастье: вечеромъ!.. — сіяя улыбкой, прошептала сестрѣ Андриуша.

Открылась дверь. Вошелъ какой-то малорослый хорошо одѣтый финнъ, въ кожаной съ мѣховымъ воротникомъ курткѣ и такую же шапку. Онъ сказалъ, что пора ѣхать. Допивъ молоко, Вероника торопливо стала расчитываться съ хозяиномъ избы. Подумавъ, онъ просилъ уплатить думскими деньгами и, получивъ отрицательный отвѣтъ, назначилъ очень высокую цѣну за молоко и кипятокъ. Вероника, не торгуясь, уплатила.

Подлѣ избы стояло трое маленькихъ аккуратныхъ узкихъ саней на два сѣдока. Съ каждымъ изъ ѣдущихъ помѣстился финнъ, управлявшій лошадей. Лошади были очень горячія и, пока выбрались на ровную дорогу, ѣхать было непріятно, такъ какъ санки то закатывались, то скользили съ пригорковъ, ударяясь о плетни и стволы деревьевъ. Наконецъ, выѣхали на ровный путь и быстрой рысью покатали по часто сворачивавшей дорогѣ; по одной сторонѣ тянулся лѣсокъ, по другой — поля. Изрѣдка попадались заколоченныя дачки.

— Куда мы сейчасъ ѣдемъ? — спросила Вероника. Финнъ хмуро буркнулъ что-то неопредѣленное. Она рѣшила больше съ нимъ не заговаривать.

Пушистые комья снѣга, вырываясь изъ-подъ быстрыхъ копытъ, легко ударяли въ лицо Вероникѣ, вызывая улыбку: ѣхавшій въ переднихъ саняхъ братъ оглядывался и весело кивалъ сестрѣ головой. Ёхали около часу. Переднія сани стали. Мимо Вероники пробѣжалъ проводникъ финнъ, ѣхавшій на развалняхъ позади и сталъ снимать съ плетня тяжелую балку, загораживавшую вѣздъ. Гуськомъ сани вѣхали въ небольшой дворикъ и стали подъ навѣсъ. Всѣ слѣзли. На одно

мгновеніе что-то неуловимо-тревожное коснулось сердца Вероники. Она взяла руку брата.

— Куда же это они привезли насъ? — Она старалась придать голосу спокойный тонъ.

— Здѣсь намъ надо чего-то подождать; отсюда мы пройдемъ черезъ границу. Такъ объяснилъ мнѣ финнъ, — отвѣтилъ Николай.

Молча вошли черезъ сѣни въ крохотную дачку. Въ небольшой комнатѣ съ кожанымъ низкимъ диваномъ, креслами, двумя столами и двумя маленькими оконцами, было очень свѣтло отъ яркихъ, бьющихся въ комнату солнечныхъ лучей.

— Что же долго здѣсь ждать будемъ? — спросилъ Николай у вошедшаго проводника.

— Сейчасъ мы пошлемъ пощупать свободенъ ли путь черезъ границу. Часика черезъ два можно будетъ двинуться.

— Долго будемъ идти?

— Версты двѣ.

Сѣли на диванъ и на кресла подлѣ стола. Вероника достала заграничный дорожный несесерь для работы, чтобы починить перчатку. Нѣсколько разъ, отрывая глаза отъ иглки, взгляды ея встрѣчались съ упорно устремленнымъ на нее неподвижнымъ, будто мертвымъ взглядомъ безцвѣтныхъ глазъ толстаго, стараго финна съ апатичной обрюзглой фizioноміей, съ короткой трубкой во рту. Онъ сидѣлъ у стола противъ двери въ сосѣдней комнатѣ и, положивъ оба локтя на столъ, какъ будто бы застылъ въ нѣмомъ созерцаніи.

Николай, въ разстегнутомъ полушубкѣ, то вставалъ и прохаживался по комнатѣ, то опять садился, заглядывая въ книгу съ морскими рисунками, которую мальчикъ вытащилъ изъ своего мѣшка и въ сотый разъ внимательно разглядывалъ. Вошелъ высокій финнъ-проводникъ. Перегнувшись черезъ столъ и, избѣгая прямого взгляда художницы, онъ въ полголоса, таинственно обратился къ ней:

— Торговецъ говорилъ, что записка у васъ есть для него, такъ вы дайте ее мнѣ. Я завтра утромъ въ Петроградъ ѣду и прямо къ нему зайду, чтобы деньги получить.

— Записку я вамъ дамъ, когда мы границу перейдемъ. Торговецъ говорилъ мнѣ, что вы насъ до Теріокъ довезете.

— Не я, а товарищъ у меня тамъ есть. Онъ доставитъ васъ. Я уже распорядился. Такъ вы записку то не забудьте.

— Можете быть спокойны. Все будетъ въ порядкѣ; доставьте насъ только благополучно.

Финнъ ничего не отвѣтилъ и вышелъ.

— Подумай, Андрюша, какой ужасъ должны пережить тѣ, кто, какъ мы, вотъ-вотъ уже у самой завѣтной своей

мечты, и вдругъ ихъ ловятъ или они попадаютъ подъ провокацію.

Художница передернула плечами и вздрогнула при этой мысли.

— Да ужъ, коли подъ провокацію, такъ хуже и быть не можетъ, — ухмыльнулся Николай. — Тогда, значить, ужъ тебѣ крышка.

Вошелъ бѣлобрысый, на видъ лѣтъ двадцати двухъ, мальчишка въ кожаной курткѣ и опустился въ кресло подлѣ двери. Безцеремонно развываясь, съ наглымъ видомъ, онъ закурилъ папиросу и, посидѣвъ молча нѣсколько минутъ, обратился къ Николаю:

— Вы Петроградскіе?

— Отецъ Петроградскій, а я намедни изъ деревни пріѣхалъ.

— Какой непріятный типъ! — по французски замѣтила брату художница.

— А куда, собственно, вы всѣ пробираетесь? — продолжалъ мальчишка.

— Въ Теріюки, — не сразу отвѣтилъ Николай.

Одну минуту длилось молчаніе.

— А теперь, волнуйтесь или не волнуйтесь, а вы попали подъ провокацію и съ этой минуты считаетесь арестованными.

Бѣлобрысый мальчишка — финнъ быстро поднялся съ кресла, сбросилъ съ себя куртку, подъ которой на ремнѣ оказался у пояса револьверъ. Въ ту же минуту изъ двери вошли трое съ такими же револьверами, очевидно ожидавшіе сигнала, чтобы войти.

Вероника поднялась. Ей почудилось, что изъ-подъ ея ногъ сорвался полъ, раскрылась пропасть, и всѣ они, вся ея прошлая жизнь, все будущее — стремительно полетѣло въ бездну. Лицо ея было совершенно блѣдно, глаза напруженно и остро, какъ бы силясь во что то взглянуть, смотрѣли прямо передъ собой на группу появившихся, оправлявшихъ свои револьверы, людей. Затѣмъ взглядъ остановился на братѣ и напряженность его смѣнилась выраженіемъ глубокаго страданія.

Мальчикъ тоже поднялся. Подъ правильной тонкой дугой темныхъ бровей глаза расширились и стали совершенно круглыми. На блѣдномъ лицѣ выразился лѣмой испугъ. Черезъ нѣсколько секундъ на щекахъ выступили два алыхъ пятна — признакъ сильнаго волненія.

— Всѣмъ стоять на своихъ мѣстахъ! Сейчасъ васъ будемъ обыскивать, — рѣзко скомандовалъ одинъ изъ вошедшихъ.

— Ну, что-жъ, ладно коли такъ, обыскивайте. Я, что-жъ... я при себѣ ничего не имѣю... — пожимая плечами и нервно ухмыляясь во весь ротъ, проговорилъ Николай, красный, какъ ракъ, съ каплями пота на лбу. Онъ взъерошилъ бѣлокурые волосы и сталъ у печки, заложивъ за спину руки.

Вероника обвила руками шею брата:

— Мой голубчикъ, дорогой, случилось страшное несчастье... насъ обманули... — она глубоко заглянула въ его глаза. — Прости меня, мой мальчикъ... я виновата, что пошла на этотъ рискъ. Хотѣла дать тебѣ другую жизнь...

Она умолкла, чувствуя, что спазмы давили горло. Заплакать она ни за что не хотѣла. Мальчикъ крѣпко сжалъ ея руку похолодѣвшими пальцами:

— Ничего, Ника, ничего... я совсѣмъ не боюсь. Я спокоенъ.

— Это хорошо. Будемъ сильны духомъ. Мы съ тобой не должны трусить. Такова, значить, воля Господа.

Вероника прижала къ себѣ голову брата и незамѣтно перекрестила его.

— Отойдите отъ стола. Ничего не брать! Гдѣ записка для передачи торговцу? — обратился къ Вероникѣ агентъ — мальчишка, съ наглымъ выраженіемъ непріятнаго лица. Изъ четырехъ онъ одинъ былъ русскій.

— Я не помню, гдѣ записка, — спокойно отвѣтила Вероника. Въ головѣ ея стоялъ странный кошмарный хаосъ. Ей казалось, что снится страшный сонъ и хотѣлось поскорѣе очнуться. Въ эту минуту она дѣйствительно не могла собрать мыслей и вспомнить, гдѣ была положена записка.

— Все равно сами найдемъ, — произнесъ одинъ изъ агентовъ, беря со стола небольшой кожаный сакъ художницы и вываливая изъ него изящныя заграничныя дорожныя вещицы. Онъ открылъ продолговатое темно-фіолетовое портъ-мона и сразу отыскалъ въ немъ нужную ему записку.

Продолжая переговариваться по фински, онъ унесъ записку въ другую комнату, гдѣ передалъ ее предателю проводнику, чтобы на слѣдующій день предъявить ее торговцу и получить сполна деньги за переходъ черезъ границу.

Началась тяжелая процедура обыска. Вероникѣ обыскивала маленькая, молчаливая жепщина, ни разу не поднявшая на нее взгляда. Все, что она нашла изъ драгоценностей въ карманѣ художницы, она передала агентамъ. У Николая нашли въ сапогѣ небольшую сумму денегъ. Крупная сумма была хорошо задрѣлана въ подошвѣ.

Агенты, какъ потомъ они сами сказали, были увѣрены, что Вероника везетъ съ собою большое количество брилліантовъ и потому каждая складка ея шубы и мѣха была подверг-

нута самому тщательному обыску. Съ особеннымъ возбужденіемъ они распаковывали ящики съ эскизами, съ которыми она не разъ въ пути просила бережно обращаться. Они не сомнѣвались, что найдутъ въ немъ золотыя и серебряныя вещи. Видъ рисунковъ вызвалъ въ нихъ сильное разочарованіе, и они грубо по фински выругались. Николай широко осклабился, слушая эту раздраженную брань.

Нѣкоторыя вещи, особенно понравившіяся, агенты безцеремонно спрятали въ стоявшій въ этой же комнатѣ шкапъ. Вероника съ грустью смотрѣла, какъ перебирались и прикарманивались ея излюбленныя вещицы. Она успѣла освоиться съ сознаніемъ постигшаго ихъ ужаса и безъ особаго усилія сохраняла спокойный видъ. Сердце ея ныло и стонало отъ боли, при видѣ обвѣяннаго тѣнями тоски личика брата.

— Несчастный мальчикъ, — думала она, — что ждетъ его? Принудительныя работы въ концентраціонномъ лагерѣ! И это послѣ суровой зимы, полной лишеній, трудныхъ заботъ и голода! Куда пошлютъ его? И на сколько времени? Можетъ быть, на годъ, на два и больше? Оторвутъ отъ меня... — Отъ этихъ мыслей слезы закинали и готовы были политься изъ глазъ. Невѣроятнымъ усиліемъ воли она сдерживала ихъ.

— Господи, если предстоитъ страданіе, то сдѣлай такъ, чтобы быть вмѣстѣ, — молилась она.

Что же теперь будетъ съ нами? Куда пошлютъ? — развязно спросилъ Николай. Онъ то неестественно посмѣивался, то громко зѣвалъ, дѣлая видъ, будто его не особенно смущаетъ все происшедшее.

— Куда пошлютъ васъ? — нагло переспросилъ русскій агентъ, котораго товарищи называли Колькой. — Въ тюрьму пошлютъ. Пока тутъ посидите сутки, потомъ отправятъ въ Шувалово, а тамъ ужъ распорядятся...

Начинало смеркаться. Агенты заторопились, такъ какъ собирались куда-то на свадьбу. Одинъ изъ нихъ сунулъ въ карманъ сворованный имъ изъ сака художницы прелестный плоскій флаконъ съ золотой пробкой, полный духовъ, другой взялъ коробку пудры и два кольца, третій запряталъ фунтъ толстыхъ короткихъ свѣчей и цѣнную цѣпочку съ медальономъ, отфланканнымъ камнями.

— Неужели конецъ моимъ мечтамъ, моимъ фантазіямъ, моимъ краскамъ, всей моей прежней жизни? Неужели тюрьма, гнетъ, грязь, болѣзни, страданія, уродство?... И Андрюша мой бѣдный мальчикъ въ этомъ омутѣ!.. — Со скорбью думала художница, опираясь на руку брата и выходя подъ конвоемъ двухъ вооруженныхъ солдатъ на темнѣющій снѣжный путь.

Чистый воздухъ и мирная картина зимней природы, съ угасающей зарей на блѣдныхъ небесахъ, благотворно подѣй-

ствовала на ея угнетенный духъ. Крѣпко прижимая къ себѣ руку задумчиво шедшаго съ ней рядомъ мальчика, она мысленно творила молитву. Послѣ получасового перехода, они пришли къ мѣсту ихъ предварительнаго заключенія, которое оказалось милиціей. Черезъ двѣ холодныхъ комнаты бревенчатой дачи, въ которыхъ стояли канцелярскіе столы съ пишущими машинками, ихъ ввели въ натопленную комнату, гдѣ сидѣвшій за столомъ человекъ вписалъ ихъ имена и фамиліи въ большую шнуровую книгу и объявилъ, что здѣсь они останутся до слѣдующаго дня. Подлѣ стѣны стоялъ облѣзлый, продавленный, отвратительнаго вида кожаный диванъ и подлѣ него кресло. Они сѣли, тѣсно прижавшись другъ къ другу. Въ комнатѣ было сильно накурено входившими и выходившими людьми, харкавшими, плевавшими и грубо переговарившимися по фински.

Когда стемнѣло, зажгли маленькую керосиновую лампочку, принесли грязный самоваръ, вокругъ котораго усѣлись агенты, приставленные стеречь художницу, погруженную въ тягостныя мысли о томъ, что она сломала свою жизнь и юную жизнь брата.

— Ника, у тебя осталось что-нибудь поѣсть? — спросилъ тихонько мальчикъ, наблюдая издали, какъ пили чай съ хлѣбомъ, сахаромъ и молокомъ, размѣстившіеся у стола караульные.

— У меня есть хлѣбъ и нѣсколько штукъ печенаго картофеля. Если будемъ съ тобой экономны, то дня на два намъ достанетъ, — отвѣтила Вероника шопотомъ.

— Николай, спросите у нихъ, нельзя ли и намъ чаю выпить? — поманила она все время ухмылявшагося парня, грѣвшагося подлѣ неостывшей еще печки.

— Я и самъ ужъ про это думаю... Нельзя ли намъ кипяточку попросить у васъ? — обратился онъ къ сторожамъ.

— Можно будетъ. Сейчасъ сами кончимъ, тогда и будете. Коли посуды нѣтъ, такъ чайникъ и стаканы взять можно, — отвѣтилъ одинъ изъ сидѣвшихъ за столомъ, бросая сочувственный взглядъ въ сторону художницы и ея брата.

Отъ этого взгляда и готовности услужить у Вероники на одно мгновеніе скользнулъ въ сердцѣ теплый лучъ.

— Конечно, и въ тюрьмѣ есть добрые люди, — пронеслось у нея въ головѣ.

Отпивъ чай, два сторожа вышли; оставшійся, сѣвъ у двери, сталъ неистово курить. Вероника заварила въ ихъ чайникъ остатки чая, перемыла стаканы, достала изъ провизіонной корзиночки ѣду и, разстеливъ салфетку на грязный, весь запятнанный столъ, предложила пить чай.

Послѣ чаю она и братъ, полусидя, уюстились на отвратительномъ диванѣ. Страшное переутомленіе отъ предыдущей безсонной ночи и нервный упадокъ силъ послѣ пережитого удара, ослабили остроту переживаемыхъ минутъ. Горячо помолясь, оѣвивъ крестнымъ знаменіемъ себя и голову мальчика, нѣжно обнявъ его за шею, она заснула почти моментально.

Ея нормально крѣпкій безпробудный сонъ часто прерывался. Въ первыя секунды пробужденія она въ недоумѣніи оглядывала тусклую комнату, приваливагоса къ двери, спящаго на полу, часового и грязный столъ съ небруанными самоваромъ и стаканами. Какъ ударъ грома, страшная дѣйствительность ударяла ей въ голову. Она еле сдерживала готовый вырваться изъ груди стонъ. Сердце начинало тревожно биться и метаться въ тоскѣ: — Господи, Господи, спаси насъ! спаси и помилуй его!... шептали дрожащія губы, и она тѣснѣе прижимала къ своей груди сонную темную головку брата.

IX

Начался рядъ темныхъ переживаній, до такой степени непохожихъ на все то, чѣмъ съ колыбели жила Вероника, до такой степени уродливыхъ и грязныхъ темной силой зла, что ея мозгъ иногда отказывался признавать дѣйствительность. Хотѣлось очнуться, хотѣлось во что бы то ни стало стряхнуть съ себя кошмаръ; но кошмаръ этотъ, какъ липкая паутина, оплеталъ каждую минуту наступившей жизни, спустившейся въ мрачные своды страданія души и тѣла.

Послѣ ночи, проведенной въ милиціи на дырявомъ диванѣ, Вероника поднялась совершенно разбитая, съ измятыми отъ неудобнаго лежанія членами, съ такимъ измѣнившимся лицомъ, что братъ, взглянувъ на сестру, огорчился:

— Ахъ, Ника, зачѣмъ ты такъ плохо выглядишь?! Я не хочу этого. Ты не волнуйся; я увѣренъ, что все какъ-нибудь обойдется.

— Мой дорогой, я плохо выгляжу, потому что вторую ночь не сплю, потому что не могу ни переодѣться, ни умыться: кругомъ грязь, всю ночь ужасный запахъ махорки... Душой я бодря, а физически, конечно, очень переутомлена.

— Скажи мнѣ, Ника, теперь ты вѣришь, что я сильный? Я нисколько не струсилъ вчера, правда вѣдь? — допытывался мальчикъ, понимавшій, что то, что они сейчасъ переживаютъ, относится къ разряду событій, необычайныхъ въ жизни каждого человѣка.

Опять былъ принесенъ тотъ же нечищенный ломаный самоваръ, опять сперва пили чай служащіе. Явился агентъ, котораго товарищи именовали „Колькой“, и велѣлъ собираться, чтобы идти для описи вещей въ ту дачку, гдѣ они были арестованы. Вероника отлично понимала, что дѣлалось это лишь для проформы, такъ какъ было давно всѣмъ извѣстно, что съ вещами арестованныхъ не стѣснялись.

— Хорошо, что мы прогуляемся. Такъ хочется свѣжаго воздуха, — замѣтила художница, направляясь къ двери, гдѣ ихъ ожидали двое конвойныхъ. Утро было чудесное. Воздухъ оцѣнялъ мягкой свѣжестью. Ели и сосны, растущія по краю дороги, убранныя пушистымъ налетомъ рыхлѣющаго снѣга, оживляли темной зеленью однообразный ландшафтъ снѣжныхъ полей. Солнце блестяло, и лучи его начинали грѣть. Ясная и яркая природа не соотвѣтствовала тому, что творили на ея мирномъ лонѣ неразумные, зарвавшіеся въ своемъ стремленіи зла — люди.

— Погляди, Андрияша, какая кругомъ красота, какой покой, какъ хорошо и легко дышется, какое прозрачное небо! Зачѣмъ вся эта грязная исторія?! — Вероника пожала плечами, не отрывая глазъ отъ простора нѣжно-голубыхъ небесъ, въ которыхъ уже чуялись весенніе колориты. Она почувствовала приливъ надеждъ и успокоенія.

— Дружокъ мой, — обратилась она къ брату, — Господь намъ поможетъ. Не будемъ падать духомъ. — Ея поблѣднѣвшее лицо, съ усталыми, окаймленными тѣнью глазами, озарилось тихой улыбкой.

— Я спокоенъ, Ника, совсѣмъ спокоенъ.

Опись вещей продолжалась больше часу. Хотя по ней не доставало многихъ цѣнныхъ вещей, однако Вероника, совершенно безразличная ко всему, что теперь вокругъ нея дѣлалось, подписала протянутый ей листъ съ описью вещей.

На просьбу купить молока, агентъ, у котораго были всѣ отобранныя деньги, вынулъ изъ портмонэ Вероники оставшіяся тамъ двѣ совѣтскихъ сотни и отдалъ ей подѣ расписку.

— Завтра васъ отправятъ въ Шувалово; этихъ денегъ вамъ пока достанетъ. Скажете сторожу, такъ онъ вамъ купитъ молока.

— У насъ хлѣба почти ничего не осталось. Братъ совсѣмъ голоденъ.

— Пусть поголодаетъ. Тутъ сидятъ не для сытости, — отозвался агентъ Колька съ наглою отталкивающей наружностью.

Хлѣба послѣ двухъ часовъ получите по полъ-фунта, — помолчавъ, добавилъ агентъ, выдавшій деньги.

Сторожъ, принявшій въ милиціи арестованныхъ, проведъ ихъ въ конецъ длиннаго коридора, остановился передъ дверью и долго возился съ ключомъ въ замочной скважинѣ, пока, наконецъ, ему удалось открыть.

— Велѣно сюда перевести васъ. Я печку истопилъ, — нехолодно будетъ, и диванъ перенесъ, такъ что размѣститься на ночь можно.

Голосъ сторожа звучалъ ласково. Арестованные вошли въ крошечную комнатку съ желѣзнымъ рѣшетчатымъ окномъ, огромной круглой облѣзлой желѣзной печкой, съ грязноватыми, потерявшими всякій цвѣтъ стѣнами, однимъ, еле державшимся на ножкахъ стуломъ и двумя диванами, изъ которыхъ одинъ былъ принесенъ изъ большой комнаты, гдѣ арестованные провели предыдущую ночь. Оба дивана были одинаково грязны, изодраны и внушали отвращеніе.

— Ну, вотъ мы и въ тюрьмѣ! — проговорила художница, съ безразличнымъ чувствомъ оглядывая стѣны и диваны.

— Тюрьма то впереди, а это еще такъ, для начала, — неизмѣнно ухмыляясь неопредѣленной и тупой улыбкой, отозвался Николай.

Сторожъ прикрылъ дверь, потрогалъ руками горячую еще печь и, тяжело вздохнувъ, покачалъ головой:

— Просто хоть и не глядѣлъ бы на все это, — острожнымъ шопотомъ заговорилъ онъ. — Ловятъ — ловятъ, сажаютъ — сажаютъ, а за что? Сами сманиваютъ, сами агентовъ подсылаютъ, а потомъ въ тюрьму сажаютъ и обираютъ. Грѣхъ одинъ! — махнулъ онъ рукой.

— А часто попадаются?

— Всѣ какъ есть попадаются, потому провокацію организовали. Которые раньше честно проводили, и тѣ къ нимъ въ агенты пошли.

— Хорошо, значить, платятъ! — разсмѣялся Николай.

— Чего ужъ лучше?! Вѣдь проводникъ, небось, съ васъ не мало взялъ? Да и тутъ еще получить.

— А давно тутъ кто-нибудь сидѣлъ?

— Вчера только отправили: двѣ почти что старушки. Одна съ больными ногами. Ужъ она охала, да охала, просто смотрѣть жалостно было. Сколотила, говорить, двадцать пять думскихъ, все какъ есть продала, чтобы отъ холоду и голоду избавиться и къ сестрѣ въ Теріоки пробраться; думала, говорить, финнъ этотъ настоящій молочникъ, за избавителя считала, а онъ только и всего, что деньги обобралъ да вмѣсто Финляндіи въ тюрьму приволокъ. А то еще молодой человекъ съ женой и двумя дѣтками... Ужъ она то, бѣдная, убивалась... Ну, я пойду. Коли надо что, такъ вы пошибче постучите, — я услышу.

— А молока намъ принесете?

— Безпремѣнно. Посудины у насъ тутъ нѣтъ, такъ я въ самоварѣ принесу.

— И хлѣбъ будетъ?

— Хлѣбъ приплюютъ въ два часа,

— По сколько намъ полагается? — освѣдомился Николай.

— Полагается арестованнымъ по фунту, а присылаютъ меньше: случается, что и вовсе не присылаютъ.

Какъ обѣщаль, сторожъ принесъ въ самоварѣ три бутылки молока, одну кружку и хлѣба по полъ-фунта. Молоко и хлѣбъ доставили голоднымъ арестованнымъ большое удовольствіе и развлеченіе. Когда стемнѣло, этотъ же сторожъ принесъ горячій самоваръ и три стакана. Вероника зажгла небольшую оставшуюся въ карманѣ свѣчку. Чай пили, за отсутствіемъ стола, на стулѣ. Спали не раздѣваясь, не имѣя возможности протянуться. Такъ прошло еще двое сутокъ въ полной неизвѣстности слѣдующаго часа и въ полномъ бездѣйствіи. Добрый сторожъ два раза позволилъ посидѣть на крыльцѣ, рискуя навлечь на себя гнѣвъ начальства.

Утромъ на четвертые сутки въ комнату вошли двое агентовъ и объявили, что сейчасъ поведутъ къ слѣдователю, а потомъ перевезутъ въ Шувалово.

У всѣхъ троихъ тревожно забилось сердце: что ждетъ впереди? Къ какой участи они подвигаются?

Поверхностный допросъ снималъ слѣдователь — латышъ, съ бездѣлтно-мутными, пустыми, будто мертвыми, холодными глазами, такимъ же блѣднымъ неподвижнымъ лицомъ и безстрастнымъ голосомъ. Онъ былъ официально вѣжливъ, но каждому допрашиваемому было ясно, что для этого чело-вѣка не существуетъ никакихъ колебаній въ страшномъ дѣлѣ — узаконеннаго или имѣющаго законный видъ — убійства. Чувствовалось, что также безучастно и безстрастно, какъ допрашивалъ, онъ могъ разстрѣливать людей. Въ его мертвомъ взглядѣ таилась холодная жестокость.

Во время допроса присутствовали мальчишки-агенты, при чемъ агентъ „Колька“, полуразвалился на диванѣ, съ папирсой въ зубахъ, держалъ себя нагло и грубо-развязно. Очевидно, его услуги были важны, и онъ зналъ себѣ цѣну. Онъ задалъ Вероникѣ рядъ вопросовъ, на которые она не могла отвѣтить, такъ какъ указанные ей адреса какихъ-то, будто бы знакомыхъ ей лицъ, были ей неизвѣстны.

— Вотъ вы говорите, что Владимирская улица домъ пятнадцать вамъ неизвѣстны, а я про васъ тамъ слышалъ. Говорили, что у васъ съ Финляндіей связи есть, — пуская себѣ подъ носъ клубы дыма, ухмыльнулся „Колька“.

— Возможно, что обо мнѣ говорятъ люди, которыхъ

я не знаю, такъ какъ меня, какъ художницу, знаетъ весь городъ. Связей у меня съ Финляндіей сейчасъ нѣтъ; раньше, конечно, были, такъ какъ туда посылались мои картины и эскизы.

Глядя въ наглое лицо „Кольки“, Вероникѣ оно вдругъ ясно припомнилось: она не сомнѣвалась теперь, что онъ служилъ артельщикомъ по перевозу вещей и мебели. Прыжокъ въ карьерѣ, конечно, повліялъ на него головокружительно, вызвавъ ту грубость и наглость, которыя дѣйствовали на попавшихъ въ кругъ его грязной дѣятельности жертвъ угнетающе.

— Я намеренъ ночевалъ у торговца, — отца вотъ этого самаго Николая, — мы тамъ до утра кутили, такъ торговецъ тоже хвасталъ, что, молъ, у васъ связи есть съ Финляндіей, — улыбаясь скверной кривой улыбкой, продолжалъ „Колька“.

Вероника пожала плечами, въ то же время чувствуя внутреннюю дрожь: она знала, что малѣйшее обвиненіе въ связи съ Финляндіей грозило смертной опасностью въ силу того, что Финляндія считалась гнѣздомъ бѣлогвардейской контрреволюціи.

— Этого торговца я видѣла всего одинъ разъ, да и то не болѣе какъ на полчаса, а потому онъ совершенно не можетъ быть освѣдомленъ ни о какихъ моихъ связяхъ, — спокойно отвѣтила она.

Послѣ допроса ея и Николая, дано было распоряженіе идти на станцію къ поѣзду.

Два агента, слѣдователь и два конвойныхъ, несшіе вещи, сопровождали ихъ. Для сокращенія пути, шли по крутому обледенѣлому спуску. Идти было трудно, такъ какъ конвой торопился, чтобы не опоздать къ поѣзду. Случайно они оказались въ томъ же самомъ служебномъ вагонѣ, въ которомъ выѣхали изъ Петрограда. Опять на остановкахъ входили финны съ молочными жестянками за спинами, предатели будущихъ довѣрчивыхъ жертвъ провокаціи.

Арестованные были очень голодны, такъ какъ со вчерашняго дня хлѣба не имѣли.

— Получите сегодня въ Шуваловѣ, — объявилъ передъ отъѣздомъ „Колька“, при чемъ Николай и братъ Вероники видѣли, что онъ откуда-то принесъ цѣлый хлѣбъ, очевидно порція для арестованныхъ за истекшіе дни.

Въ Шувалово пріѣхали, когда уже вечерѣло. На станціи мимо пробѣгавшій мальчишка-агентъ, съ радостнымъ видомъ хлопнулъ „Кольку“ по плечу:

— А мы сегодня двѣнадцать штукъ въ отдѣлъ доставили... деньжищъ — цѣлая уйма! А это — тоже? — бросилъ онъ, указывая взглядомъ на привезенныхъ.

Вероника почувствовала какъ бы легкую тошноту отъ этого бахвальства грязнымъ и жестокимъ дѣломъ.

— Шувалово... дачное мѣсто, теперь тюрьма.... — думала она, идя за руку съ братомъ посреди дороги. По обѣ стороны тянулись еще недавно хорошенькія, теперь запущенныя дачи, на которыхъ рѣзко и грубо выдѣлялись красными буквами надписи совѣтскихъ учреждений и вылинялые красные флаги у крылечекъ или на вышкахъ дачъ. Рыхлѣющій снѣгъ начиналъ чернѣть на наѣзженной дорогѣ. Запущенный видъ домиковъ и покривившіеся или разобранные заборы создавали неряшливый грязновато унылый видъ. Взглядъ художницы, обращенный вверхъ, встрѣтилъ блѣдное, успокоительно ясное вечернее небо, съ одинокой звѣздой, еще робко мерцавшей слабымъ свѣтомъ. Отъ этой одинокой тихой звѣзды и далекаго, чистаго неба, какъ накануне, на душу повѣяло умиротворяющимъ спокойствіемъ. Вероника плотнѣе притянула къ себѣ за руку брата;

— Ты волнуешься? Тебѣ очень грустно, мой мальчикъ?

— Нѣтъ, я спокоенъ.

— Ты очень голоденъ?

— Порядочно. А ты?

— Я тоже. Хотъ бы по кусочку хлѣба дали! — Послѣ длиннаго перехода пришли къ деревянной большой дачѣ съ крыльцомъ въ нѣсколько ступенекъ. Ввели въ переднюю. Сбоку была видна часть кухни, впереди — длинный корридоръ. Агенты скрылись въ концѣ корридора. У входныхъ дверей сидѣлъ караульный съ винтовкой, все время переговаривавшійся черезъ открытыя двери съ какими-то людьми въ кухнѣ, которыхъ, очевидно, тамъ было много. Подлѣ него на стѣнѣ былъ телефонъ. Нѣсколько разъ телефонъ звонилъ. Караульный вызывалъ къ аппарату отталкивающаго вида людей, находившихся въ концѣ корридора. Люди эти, проходя мимо, не обращали на арестованныхъ ни малѣйшаго вниманія. Неожиданно изъ-за угла корридора выбѣжала высокая, хорошенькая дѣвочка лѣтъ четырнадцати, вслѣдъ за ней мальчикъ старше ея, и очень высокаго роста худой красивый юноша. Схожіе между собой, они были красивы породистой тонкой красотой. На нихъ были толстыя вязаныя англійскія фуфайки и высокіе валенки.

— Алека, вернись и скажи Маѣ, чтобы скорѣе шла помогать, пока сарай открытъ, — позвалъ сестру юноша, нагоняя ее у входныхъ дверей.

— Мая сейчасъ идетъ, — бросила черезъ плечо дѣвочка, убѣгая во дворъ.

Черезъ нѣсколько минутъ всѣ трое вошли со двора, таща огромныя охапки сѣна. На встрѣчу имъ, быстрымъ ша-

тѣмъ, изъ глубины корридора появилась очень большого роста блѣлая веселая дѣвушка въ черной англійской блузѣ и такой же юбкѣ.

— Скорѣе иди, Мая. Этотъ типъ ругается тамъ, хочетъ сарай закрыть, — торопилъ дѣвушку младшій братъ, такой же блондинъ лѣтъ пятнадцать.

Дѣвушка ускорила шагъ, мимоходомъ участливо взглянувъ на вновь прибывшихъ.

— Двери чего не закрываете?! Ишь разбѣгались тутъ, черти!... — крикнулъ часовой вслѣдъ Маѣ, не прихлопнувшей за собой дверь.

— Хорошо, если бы вмѣстѣ съ ними насъ посадили! Было бы веселѣе, — замѣтилъ Андруша.

Черезъ часъ томительнаго ожиданія, изъ двери въ концѣ корридора появился человѣкъ въ формѣ защитнаго цвѣта и велѣлъ арестованнымъ слѣдовать за собой. Они вошли въ комнату съ тремя столами. За пишущими машинками сидѣли двѣ молоденькихъ особы.

— Васъ уже обыскивали? — спросилъ вошедшихъ небольшого роста человѣкъ. — Если у васъ еще что-нибудь осталось при себѣ, то лучше заявите сейчасъ, а то будутъ непріятности, если найдемъ.

— У насъ все отняли при обыскѣ на станціи Грузино, — отвѣтила Вероника.

— Сейчасъ васъ проведутъ на верхъ.

— Нельзя ли намъ взять кое-что изъ вещей: полотенца, мыло, гребенки?

— Теперь поздно. Вещи ваши сданы коменданту, и дверь заперта. Завтра спросите.

— А хлѣба мы получимъ сегодня?

— Тоже завтра. Ваши порціи впишутъ съ вечера.

— Мы со вчерашняго дня безъ хлѣба, — робко замѣтила Вероника.

— Придется подождать... Отведи на верхъ въ общую, — приказалъ смуглый человѣкъ, какъ потомъ выяснилось — одинъ изъ слѣдователей, стоявшему подлѣ двери часовому.

— Дѣло плохо, — проговорилъ выходя Николай, сильно удрученный отказомъ въ хлѣбѣ.

По деревянной красивой лѣстницѣ съ громаднымъ готическимъ окномъ и увѣлѣвшей мраморной статуей женщины, арестованные поднялись во второй этажъ и вошли въ очень просторную, совершенно голую комнату, гдѣ стояла лишь одна садовая деревянная скамейка съ гнутой спинкой и два стула. На скамейкѣ и подлѣ на полу, при свѣтѣ огарка, горѣвшаго въ углу на полу, сидѣла группа арестованныхъ. Слабый колеблющійся свѣтъ, озарялъ сидѣвшихъ, тихо раз-

говаривавшихъ между собой, людей. Длинные тѣни тянулись отъ стѣнъ къ потолку. Изъ сосѣдней комнаты въ открытую дверь видны были, копошащіеся надъ разстилкой по полу сѣна, силуэты нѣсколькихъ фигуръ.

— Товарищи по несчастью? — спросила Вероника, подходя къ скамьѣ.

— Да, насъ арестовали сегодня въ двѣнадцать часовъ дня, — отвѣтила бѣлокурая дѣвушка — Мая, давая художницѣ мѣсто подлѣ себя на скамьѣ.

— Насъ — семь человѣкъ и вотъ еще семью, гдѣ трое дѣтей. А васъ гдѣ? На станціи Грузино? Три дня тому назадъ? Вамъ давали хлѣбъ? Конечно, нѣтъ!.. Мама, гдѣ наши бутерброды? Они вторые сутки безъ ѣды...

Хорошенькая молодая женщина съ нѣжнымъ лицомъ, въ бѣломъ оренбургскомъ платкѣ, наброшенномъ на голову и заколотомъ у подбородка, торопившаяся узнать исторію ареста, встала со скамьи, чтобы принести бутерброды изъ сосѣдней комнаты, тоже совершенно голой, гдѣ молодые люди устраивали ночлегъ на принесенномъ сѣнѣ.

Высокая, худощавая, пожилая дама, княгиня Коницына въ черномъ гладкомъ платьѣ, съ серьезнымъ и спокойнымъ лицомъ, вышла изъ сосѣдней комнаты и присоединилась къ группѣ.

— Мама, ихъ арестовали въ Грузинѣ. Морочили дольше насъ. Тоже на розвальняхъ везли. Все отняли, — перебивая другъ друга, рассказывала молодежь княгинѣ.

Не прошло и получаса, какъ всѣ подробности ареста были сообщены. Больше всѣхъ были подавлены отчаяніемъ хорошенькая молодая женщина, — недавно повѣнчавшаяся съ высокимъ красивымъ юношей — княземъ Коницынымъ, и мать троихъ маленькихъ дѣтей, неудачно рискнувшая съ мужемъ и дѣтьми вырваться изъ голоднаго, замерзающаго и мертваго Петрограда.

Обѣ онѣ трепетали за своихъ мужей. Княгиня Анна Николаевна, обладавшая изумительной выдержкой, основанной, какъ потомъ поняла Вероника, на глубочайшей вѣрѣ въ мудрость воли Господа, не жаловалась, не протестовала, не возмущалась, ничѣмъ не выдавала своихъ внутреннихъ переживаній. Она спокойно передавала факты, прерывая свой рассказъ совѣтами, какъ поудобнѣе устроиться на ночь, что съ себя снять, что надѣть. Слушая звукъ ея ровнаго голоса и глядя на спокойное лицо, съ выраженіемъ углубленной въ себя покорности и вдумчивости, Вероника почувствовала влеченіе къ этой женщинѣ, въ которой сказывалась большая и свѣтлая внутренняя сила. Всѣ ея дѣти были симпатичны. Особенно была мила безпечной добродушной веселостью стар-

шая — Мая, рослая бѣлокурая дѣвушка, съ подстриженными волнистыми волосами и смѣющимися голубыми глазами. Она очень много курила и то и дѣло искала и спрашивала, гдѣ спички. Послѣ нея притягивалъ къ себѣ вниманіе пятнадцатилѣтній Николай, тоже свѣтлый блондинъ, съ такимъ же, какъ у старшей сестры, нѣжнымъ цвѣтомъ лица и голубыми глазами, но серьезными и вдумчивыми, съ отпечаткомъ той внутренней силы, которую онъ, очевидно, унаслѣдовалъ отъ матери. Семнадцатилѣтняя Софія, съ темными волосами и карими грустными глазами, похожая на Миньону — была молчалива. Алека — подростокъ, похожая сложеніемъ на сестру Маю, и Сергѣй — тонкій, красивый юноша лѣтъ двадцати трехъ, слишкомъ рано связавшій свою свободу съ хорошенькой хрупкой женщиной — молодой брюнеткой, съ нѣжнымъ оваломъ лица и испуганными большими, темными глазами.

Вторая семья, арестованная вмѣстѣ съ Коницыными, состояла изъ мужа — венгерскаго подданнаго, очень симпатичнаго, сразу располагавшаго къ себѣ европейски-культурнаго венгерца-еврея съ энергичнымъ и умнымъ лицомъ, объѣздившаго новый и старый свѣтъ, — человѣка лѣтъ подъ сорокъ, съ пылкимъ темпераментомъ, ни въ какихъ обстоятельствахъ не унывающего, прямого и сильного духомъ, его жены — брюнетки сильно подавленной постигшимъ ихъ несчастьемъ, и трехъ очень милыхъ, спокойныхъ дѣтей: десятилѣтній, во всемъ схожій съ отцомъ, Жоржикъ, семилѣтній нѣжный Гая, съ блѣднымъ личикомъ и задумчивыми темными глазками, и четырехлѣтняя умненькая, все разспрашивавшая, забавная Маргоша.

— Вы только подумайте, какую мерзость они продѣлали, — возбужденно говорила Мая, сидя на скамьѣ и куря папиросу, съ поджатыми подъ себя ногами, обутыми въ теплыя сѣроватыя валенки. — Они высадили насъ здѣсь на станціи Шувалово, подали трое розвальней и повезли. Весело намъ было ужасно. Коля бѣжалъ рядомъ съ санями и бросался снѣжками; мы достали взятые на дорогу печенья, ѣли ихъ, хохотали, перекрикивались изъ однѣхъ саней въ другія, и вдругъ какіе-то вооруженные солдаты останавливаютъ сани и спрашиваютъ документы. Мы просто обалдѣли; спрашиваютъ, куда мы ѣдемъ, а мы не знаемъ, что и говорить.

— О, я сразу поняла, что все это поддѣлано, что это предательство. У меня въ ту минуту мозгъ точно застылъ, — заговорила молодая Коницына, скорбно вздыхая и, въ отчаяніи, хватаясь за голову. — Какой ужасъ былъ, когда я поняла, что все погибло, что мы въ лапахъ провокаторовъ.

— И кто же предаль?! — продолжала Мая. — Вообразите: мальчишка лѣтъ восемнадцати, который столько вре-

мени лазилъ къ Занненфельдамъ, такъ много получилъ отъ нихъ, клялся, что онъ вѣрный человѣкъ, что не подведетъ ихъ, хотя бы изъ жалости къ дѣтямъ. Они только и провезли насъ, что отъ вокзала по дорогѣ кругомъ, а затѣмъ прямо сюда къ особому отдѣлу. Вотъ вамъ и все наше путешествіе въ Финляндію.

— Такъ вы сегодня только изъ дому выѣхали? — спросила Вероника.

— Ну да, сегодня въ десять часовъ съ минутами, а въ двѣнадцать мы уже очутились здѣсь. До того все это глупо, до того наивно, что даже злость беретъ! — докончила Мая, энергично пожимая плечами.

— Тутъ сидятъ еще мужъ и жена, тоже попавшіе подъ провокацію: они говорятъ, что въ тюрьмѣ масса арестованныхъ и все по провокаціи. Какая подлость и жестокость! Господи, до чего я боюсь за Сережу! — сжимая у подбородка сплетенные пальцы, жаловалась молодая Коницына. На глазахъ ея стояли слезы.

— Развѣ это еще не тюрьма? — обратился Андрюша къ Николаю Коницыну.

— Нѣтъ, это особый отдѣлъ. Здѣсь производятся допросы у слѣдователей, а въ тюрьму переводятъ, когда все дѣло выяснено. Тюрьма — это совсѣмъ иначе.

Андрюша, очутившись въ большой компаніи, въ которой оказались его сверстники, сразу почувствовалъ приливъ бодрости и рѣшилъ, что совсѣмъ все это не такъ ужъ плохо.

— Я думаю, что надо спать укладываться, — замѣтила княгиня Анна Николаевна. — Свѣча догораетъ; ужъ скоро одиннадцать.

— Да, это вѣрно, — согласилась Вероника. — Теперь надо беречь свои силы и свои нервы. Впереди еще много предстоитъ.

Всѣ поднялись и распрощались. Въ комнатѣ было тепло. Вероника сняла съ себя шубку и, приставивъ къ скамѣ единственныхъ три стула, разстелила ее. Вмѣсто подушки подъ голову была положена муфта и мѣховой воротникъ. Усталые и голодные, они кое-какъ уместились на скамѣ, больно давившей бока твердымъ рѣшетчатымъ сидѣніемъ. Вся остальная многочисленная компанія, успѣвшая выхлопотать себѣ сѣна, размѣстилась на полу въ сосѣдней комнатѣ.

Догоравшій огарокъ, поставленный Маей на порогѣ двухъ комнатъ, погасъ. Всѣ затихли. Вероника, горячо помолясь, перекрестила въ темнотѣ брата и крѣпко обняла его, подавляя тяжелый вздохъ. Сынъ торговца — Николай, разстеливъ въ углу свой овечій полушубокъ, стоя на колѣняхъ, долго молился, беззвучно плакалъ, поминутно крестясь частымъ

широкимъ крестомъ. Громко вздыхая отъ голода, къ которому онъ, живя въ деревнѣ, совершенно не былъ подготовленъ, онъ улегся ничкомъ и сразу крѣпко заснулъ.

Послышались на лѣстницѣ тяжелые шаги и громкій говоръ. Съ шумомъ открылась дверь, и вошли двое часовыхъ со свѣчей въ рукѣ. Нисколько не заботясь о томъ, что арестованные уже легли спать, они, продолжая громко переговариваться и стучать сапогами, начали устраиваться на ночлегъ. Вероника, лежавшая къ нимъ спиной, видѣла протянувшіеся вдоль стѣны и потолка ихъ длинныя копошившіеся тѣни. Часовые разговаривали, харкали, плевали, курили скверную махорку и, наконецъ, тоже улеглись на полу, подстеливъ подъ себя шинели и загородивъ собой дверь въ корридоръ.

Мальчикъ спалъ крѣпкимъ сномъ; Вероника безпрестанно просыпалась отъ боли въ бокахъ, надавленныхъ скамьей. Утромъ она встала раньше всѣхъ. Яркое солнце озаряло большую, свѣтлую, совершенно голую комнату съ недавно выкрашеннымъ поломъ. Братъ, свернувшись клубочкомъ, спокойно и крѣпко спалъ, зарывшись лицомъ въ мѣхъ большой муфты. Въ углу комнаты Николай, открывъ ротъ и слегка похрапывая, тоже крѣпко спалъ, раскинувъ ноги въ грязныхъ, тяжелыхъ, высокихъ сапогахъ. Художница осторожно спустила ноги, обутыя въ изящныя сѣрыя замшевыя ботинки — остатки прежняго гардероба, потянулась, ощутила боль во всемъ, усталомъ отъ неловкаго сна, тѣлѣ, оглядѣла свѣтлую комнату, подлѣ окна которой росла высокая сосна, вся опушенная по вѣтвямъ слоями чистаго снѣга, и внезапно почувствовала, что никакой тревоги въ сердцѣ у нея больше нѣтъ, что она спокойно и гордо пойдетъ туда, куда, по волѣ Провидѣнія, надлежитъ ей идти.

Х

Потянулись непохожіе ни на что странные дни, пустые въ смыслѣ бездѣйствія, но переполненные тяжкими впечатлѣніями, удручавшими мозгъ и опустошавшими душу безысходной тоской. Вероника чувствовала, какъ въ сердцѣ ея натягивалась все туже и туже болѣзненно-стонущая струна. Тоска нарастала не отъ того, что она жила въ голой комнатѣ, что спали не раздѣваясь на полу, что воды для мытья или совсѣмъ не давали или давали слишкомъ мало и съ грубой бранью, такъ что мылись снѣгомъ изъ-за окна, не отъ того, что очень сильно голодали, а отъ того, что вся атмосфера вокругъ была пропитана темными дѣяніями темныхъ, съ преступнымъ прошлымъ, людей, которые подъ, кличкой идейныхъ коммунистовъ, творили грязныя дѣла. Всѣ эти люди, наполнявшіе

особый отдѣлъ, считали арестованныхъ настолько ничтожной величиной, потерявшей всякое право критиковать и протестовать, что они не стѣснялись открыто выставлять грязную сторону своихъ привилегій. Они до суда рылись въ конфискованномъ имуществѣ арестованныхъ и присваивали себѣ то, что имъ принадлежало.

Тонкая дверь, отдѣлявшая комнату арестованныхъ отъ кабинета, въ которомъ находились слѣдователи, позволяла слышать многое, что тамъ происходило. Моральная тошнота переполняла душу, когда въ полной тишинѣ поздняго часа изъ-за двери ясно доносилась вся сцена дѣлежа всевозможныхъ вещей, отобранныхъ у арестованныхъ. Эти вещи, „конфискованныя въ пользу государства“, начиная отъ шолковыхъ шуршавшихъ юбокъ, духовъ, мыла, бѣлья и кончая цѣнностями, попадали въ пользование тѣхъ, кто, облеченный властью закона, якобы творилъ правосудіе. Люди, именовавшие себя идейными коммунистами, присваивали себѣ чужую собственность такъ же просто, какъ это всегда дѣлали и будутъ дѣлать тѣ, кто лишены всякихъ принциповъ и идей. Слѣдователи, производившіе допросъ, были: цыганъ — профессиональный, какъ говорили, конокрадъ и очень жестокій человекъ; латышъ, — страшный своей вкрадчивостью и фальшью. Онъ внушалъ жуткое чувство страха змѣинымъ взглядомъ и такими же движеніями. Это былъ высокій, худой блондинъ, слегка сутулый, какой-то весь изгибающійся. Его аккуратная внѣшность, матовый цвѣтъ лица, холодные стальные глаза и правильной формы блѣдныя руки внушали опасливое и отталкивающее чувство. Третій слѣдователь — Тихомировъ — бывший рабочій, съ неподвижно куда-то устремленнымъ, будто отсутствующимъ взглядомъ растерянныхъ глазъ, производилъ впечатлѣніе узкаго, сбившагося съ толку фанатика.

Вспоминая все, что потихоньку рассказывали люди, посвященные въ дѣятельность Гороховой № 2, Вероника, съ каждымъ днемъ своего пребыванія въ этомъ особомъ отдѣлѣ, все болѣе и болѣе удостовѣрялась, что попасть въ желѣзныя лапы этихъ жестокихъ инквизиторовъ было то же, что очутиться въ страшныхъ, постепенно сдавливающихъ, кольцахъ удава.

Утромъ заключенные одинъ за другимъ спускались на крыльцо, сливая другъ другу изъ маленькой кружечки воду, взятую въ кухню изъ бочки, которой едва доставало, чтобы вытереть лицо и руки. Каждый разъ это стоило нареканій и брани служащихъ, не желавшихъ лишній разъ ѣздить за водой, чтобы удовлетворять „буржуазнымъ прихотямъ“ заключенныхъ, такъ что зачастую совсѣмъ не мылись, или умыва-

лись снѣгомъ. Андрюша, Алека и Николай Коницыны, зорко слѣдившіе, когда самоваръ, наставленный для слѣдователей и служащихъ, оказывался свободнымъ, наставляли его вновь и несли на верхъ. Самоваръ ставился на стулѣ; чай очень скупо заваривался въ большомъ голубомъ эмалированномъ чайникѣ. Пили по очереди, такъ какъ на всю компанію было четыре кружки. На третьи сутки пребыванія въ особомъ отдѣлѣ, когда утренній чай еще не былъ отпить, открылась дверь и къ допросу вызвали Зоненфельда. Всѣ вострепнулись, поблѣднѣли и заволновались. Въ комнатѣ стало тихо. Вскорѣ вызвали и его жену. Оставшіеся съ напряженіемъ ожидали ихъ возвращенія, чтобы узнать, какъ происходитъ допросъ, каково отношеніе слѣдователей и какъ выясняется общее положеніе дѣла.

Раскрылась дверь, и Зоненфельдъ, со своимъ обычно спокойнымъ видомъ, быстро прошелъ во вторую комнату. За нимъ слѣдовали двое конвойныхъ. Всѣ бросились къ нему.

— „Мой пальто“... фуражка... теплый шарфъ... — отыскивая взглядомъ брошенные на соломѣ вещи, говорилъ Зоненфельдъ, слегка коверкая слова и произнося ихъ съ сильнымъ иностраннымъ акцентомъ.

— Что такое?! Васъ уводятъ? Куда? — посыпались встревоженные вопросы.

Зоненфельдъ, поспѣшно натягивая пальто, пожалъ плечами.

— Въ погребъ... Тутъ есть у нихъ, какъ оказывается, погребъ для пытокъ. Меня тамъ собираются держать, пока я не скажу имъ фамилію человѣка, очень благожелательно относившагося ко мнѣ. Они хотятъ посадить его на Гороховую. Я не назову его. Они могутъ дѣлать со мной все, что имъ угодно. Этой подлости я не сдѣлаю. Они уговариваютъ мою жену, чтобы она сказала. Надѣюсь, что она тоже не скажетъ. Прошу васъ всѣхъ, если со мной что-нибудь случится, вы не оставьте ее... Дѣти!... — онъ быстро и горячо обнявъ каждого изъ своихъ дѣтей, поцѣловалъ ихъ въ голову, сдѣлалъ общій поклонъ, улыбнулся и твердымъ, рѣшительнымъ и быстрымъ шагомъ направился къ двери, затягивая поверхъ пальто ременный поясъ.

— Папа, папа!... я не хочу, чтобы ты уходилъ!... Милый папа, куда они тебя уводятъ?! — весь блѣдный, дрожа и протягивая къ отцу руки, зарыдалъ Ганя, нервный, болѣзненно-впечатлительный ребенокъ.

Всѣ стояли молча, глубоко потрясенные.

— Куда же повели моего папу? — широко раскрывъ испуганные глаза, спрашивала малютка Маргоша.

Мая и Софія Коницыны принялись успокаивать дѣтей. Арестованные были подавлены происшедшимъ и съ тревогой ожидали возвращенія жены Зоненфельда. Она вернулась съ мертвенно-блѣднымъ перепуганнымъ лицомъ и полнымъ отчаянія взглядомъ:

— Увели... увели его... Что они сдѣлаютъ съ нимъ?! — разрыдалась она, заломивъ руки. — Они требуютъ, чтобы онъ сказалъ, кто далъ ему подложный паспортъ. Онъ ни за что не скажетъ. Этотъ человѣкъ далъ ему паспортъ не за деньги, а по дружбѣ. Развѣ возможно предать его?! Мужу грозятъ пыткой, если до вечера онъ не скажетъ. Въ этомъ погребѣ пытаются... Боже мой, куда мы попали?!

Всѣ обступили рыдавшую женщину, не находя словъ для утѣшенія. Дѣтей увели въ другую комнату, стараясь отвлечь ихъ вниманіе отъ рыдавшей матери.

— Что мнѣ дѣлать?! Научите, что мнѣ дѣлать?! — Отводя въ сторону Веронику, держась обѣими руками за голову, продолжала плакать Зоненфельдъ. — Въ васъ чувствуется столько спокойствія и силы, научите, какъ мнѣ быть. Они говорятъ, что если я скажу имъ, кто далъ подложный паспортъ, они сейчасъ же его выпустятъ. Что бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ?

— Вашъ мужъ можетъ разлюбить васъ, если узнаетъ, что вы сказали? — спросила Вероника.

— О, онъ навѣрное потеряетъ ко мнѣ всякое уваженіе... Но онъ будетъ спасенъ.

— Вашъ мужъ человѣкъ очень сильный. Сильные люди презираютъ трусость. Онъ знаетъ, что дѣлаетъ и на что идетъ. Если изъ-за васъ пострадаетъ человѣкъ, довѣрившійся чести вашего мужа, то, я увѣрена, онъ никогда не проститъ вамъ этого и будетъ очень страдать.

— Боже мой, но вѣдь они сказали, что будутъ пытаться его!

— Если имъ непременно надо знать, кто этотъ человѣкъ, то, я увѣрена, они и сами узнаютъ. Не даромъ на Гороховую № 2 стягиваются нити паутины, опутавшей весь городъ.

— У моего мужа желѣзная воля. Они не ломаютъ ее никакими пытками.

Несчастная женщина, совершенно ослабѣвшая отъ слезъ и отчаянія, легла въ углу на соломѣ, стараясь въ то же время ободрить своихъ дѣтей, спрашивавшихъ у матери, отчего она плачетъ и скоро ли вернется отецъ.

Послѣ Зоненфельдовъ была вызвана княгиня Коницына; за ней, по одиночкѣ, всѣ ея дѣти. До самаго вечера тиснулось допросъ ихъ семьи, взвинтившій еще больше нервы за-

ключенныхъ, такъ какъ при допросѣ устраивались ловушки, смущавшія и пугавшія княженъ, не знавшихъ, гдѣ была ложь и гдѣ правда въ томъ, что имъ говорили слѣдователи. У всѣхъ на душѣ лежалъ тяжелый камень при мысли объ отсутствовавшемъ Зоненфельдѣ. Когда стемнѣло, неожиданно раскрылась дверь, и вошелъ Зоненфельдъ.

Всѣ бросились къ нему: онъ улыбался обычной безпечной улыбкой.

— Меня выпустили. Кажется, все обстоит благополучно. Сейчасъ я опять былъ у нихъ и категорично на всѣ ихъ вопросы и угрозы отвѣтилъ, что тѣло мое они могутъ искалчить, но душа моя внѣ ихъ власти, и чести моей я имъ не продамъ цѣной никакихъ пытокъ.

— И что же они? — широко открывъ испуганные глаза и крѣпко обнавъ мужа, спрашивала Зоненфельдъ.

— Они говорятъ, что мое упорство только замедляетъ дѣло, такъ какъ все равно они узнаютъ имя этого человѣка.

— Значить, они напали на слѣдъ, — вздохнула жена Зоненфельда.

— Конечно, иначе они не отпустили бы меня такъ скоро.

— Я лежалъ тутъ у двери, — таинственно заговорилъ сынъ торговца Николай, — и слышалъ, какъ одинъ слѣдователь сказалъ другому: — съ этимъ, говорить, ничего не подѣлаешь. Этотъ умретъ, а не скажетъ того, чего рѣшилъ не говорить. Не стоитъ, говорить, и время тратить. Такъ и сказалъ.

— Хорошо, что сразу понялъ, — разсмѣялся Зоненфельдъ.

— Очень скверно тамъ, гдѣ вы сидѣли? — спросила Мая.

— Скверно, — это мало сказать; тамъ омерзительно. Впервыхъ, это не погребъ, а мѣсто для отбросовъ. Воздухъ ужасный. Темень такая, что ни зги не видно, подъ ногами отвратительная мокрота. Я какъ сталъ, прислонясь къ стѣнкѣ, такъ и стоялъ, боясь съ мѣста двинуться. Гнусное, ужасное мѣсто!...

— Гдѣ этотъ погребъ; далеко?

— Тутъ сейчасъ же внизу, подлѣ крыльца.

— Какъ?... Такъ это тутъ же, подлѣ насъ? И тамъ они мучаютъ и пытаются людей? — ужаснулись всѣ.

— Да, мнѣ сейчасъ говорили, что пытки тамъ происходятъ часто, — вздохнулъ Зоненфельдъ.

— Боже мой, въ какомъ мы страшномъ мѣстѣ! — содрогнулась Вероника.

На слѣдующій день допрашивали ее. Послѣ пережитыхъ волненій предыдущаго дня и безсонной ночи, сильно страдая отъ голода, Вероника вошла въ кабинетъ слѣдователя съ пустой головой и полнымъ безразличіемъ ко всему, чтобы ни произошло. Латышъ слѣдователь Залитъ, со змѣиными глазами, тщательно одѣтый и причесанный, съ очевиднымъ расчетомъ внушить къ себѣ симпатію и довѣріе, былъ очень вѣжливъ и корректенъ. Художница, усталая физически и морально, отвѣчала коротко и апатично, въ то же время учитывая каждое свое слово и ловко избѣгая разставленныхъ ей силковъ. Слущая то, что ей говорилъ слѣдователь и отвѣчая на его вопросы, она вглядывалась въ его блѣдное лицо со змѣиными глазами и узкимъ лбомъ, за которымъ она читала лукавыя, недобрыя мысли хищнаго звѣря, подстерегающаго наиболѣе вѣрный моментъ для рѣшительнаго прыжка, чтобы вцѣпиться когтями въ свою жертву. Ея вниманіе привлекала его правильная узкая рука съ длинными пальцами. Она ясно представляла себѣ, какъ этой рукой онъ подписываетъ пытки и разстрѣлы, а можетъ быть и самъ наводитъ дуло револьвера.

За столомъ противъ нея сидѣлъ слѣдователь Тихомировъ съ неподвижнымъ, какъ бы отсутствовавшимъ взглядомъ расширенныхъ глазъ. Лицо его было болѣзненно-блѣдно. Художница въ выраженіи этого лица видѣла результаты многихъ и долгихъ страданій мысли. Она отгадывала, что этотъ бывшій рабочій, раньше страдавшій отъ лишеній, теперь — въ поискахъ истины, попалъ въ тупикъ, изъ котораго онъ, неподготовленный наукой, не можетъ вырваться. Чѣмъ дальше онъ идетъ по пути, на которомъ думалъ найти истину и творить добро, тѣмъ болѣе творить зло, недоумѣваетъ; страдаетъ и летитъ въ бездну, которую уже видитъ его неподвижно устремленный взглядъ. Онъ внушалъ жалость.

Нѣсколько разъ входилъ и выходилъ, въ гимнастеркѣ защитнаго цвѣта, лохматый брUNETъ съ желчнымъ озлобленнымъ, вульгарнымъ лицомъ, бросавшій на художницу недоброжелательные взгляды. Въ этихъ взглядахъ она прочла озлобленную къ себѣ неприязнь. Послѣ октябрьскаго переворота, искусство, какъ и все остальное, дѣлилось на пролетарское и буржуазное. Въ этихъ косыхъ взглядахъ озлобленнаго человѣка она читала противъ себя раздраженіе, какъ къ буржуазной художницѣ.

— У меня есть просьба къ вамъ, — обратилась Вероника къ латышу слѣдователю, когда допросъ былъ оконченъ.

— У меня отняли все, но ни деньги, ни цѣнности меня не беспокоятъ, пусть все пропадетъ, кромѣ ящика съ моими картинами и эскизами. Прошу васъ, распорядитесь, чтобы

этотъ ящикъ былъ спрятанъ въ надежномъ мѣстѣ, такъ какъ въ немъ отобраны лучшія изъ моихъ произведеній.

— Вы можете быть совершенно спокойны: совѣтская власть съ особенной бережливостью относится къ произведеніямъ искусства. Вашъ ящикъ спрятанъ въ комнатѣ запертой на ключъ.

Братъ ожидалъ возвращенія Вероники съ тревожно бьющимся сердцемъ:

— Ну что? — бросился онъ къ ней.

— Я все рассказала. Упрекнула за провокацію. На настоятельное требованіе назвать, кто изъ моихъ знакомыхъ собирался ѣхать въ Финляндію; въ случаѣ моего благополучнаго переѣзда, я категорично заявила, что никакими угрозами, никакими мѣрами они не заставятъ меня сдѣлать подлость; что о своемъ личномъ дѣлѣ я говорить съ ними буду, но ничьихъ именъ называть не стану.

— Ты не спросила, когда и куда насъ отправятъ?

— Конечно, нѣтъ. Это бесполезно; эти люди никогда не скажутъ правды, а кромѣ того, всякіе разговоры съ ними мнѣ противны. Это пауки, жадно стерегущіе свою жертву.

Послѣ Вероники вызвали ея брата. Онъ быстро овладѣлъ собой, спокойно вошелъ и, прямо глядя въ лукавое лицо агента милыми честными глазами, коротко и толково подтвердилъ показанія сестры.

Прошло двѣ недѣли. Дни начинали замѣтно свѣтлѣть. Снѣгъ подлѣ дома совсѣмъ порыхлѣлъ и подъ теплыми лучами солнца начиналъ подтаивать. Небеса синѣли. Чистый воздухъ былъ напоенъ отдаленными ароматами весны. Вероника подолгу стояла подлѣ открытой форточки и страстно желала, чтобы поскорѣ насталъ день ихъ перевода въ тюрьму. Тянуло изъ этой унылой голой комнаты на свѣжій воздухъ, хотѣлось увидѣть надъ собой голубѣющія небеса, идти по дорогѣ, засаженной высокими хвоями, отряхивающими со своихъ вѣтвей тяжелыя залежи снѣга.

День этотъ вскорѣ насталъ. Неожиданно, какъ и все, что дѣлалось въ тюрьмѣ, ей и брату ея было вѣльно собраться, чтобы итти въ Озерки. Едва успѣвъ распрощаться съ товарищами по заключенію, они, въ сопровожденіи двухъ конвойныхъ, были выведены изъ особаго отдѣла. Вероника съ облегченіемъ вздохнула, оставивъ за спиной жуткое мѣсто злонаго произвола мало-культурныхъ людей надъ другими людьми, абсолютно ни въ чемъ неповинными или вся вина которыхъ заключалась въ томъ, что они не сочувствовали всему тому, что, подъ кличкой идейности, шло въ разрѣзъ съ какимъ бы то ни было элементарнымъ понятіемъ о добрѣ.

— Какое счастье, что насъ увели изъ этого срашнаго мѣста! — спускаясь съ подтаявшей крутой горки, говорила Вероника. — Я увѣрена, что всякая тюрьма будетъ лучше. Я спать не могла при мысли, что подлѣ насъ былъ этотъ страшный погребъ. Ахъ, Андрюша, ты не знаешь... Оттуда третьяго дня вынесли подъ руки какого-то юношу... Онъ былъ блѣденъ, какъ смерть, и громко рыдалъ... а солнце такъ ярко свѣтило и ударило всѣми лучами въ искаженное страданіемъ лицо этого несчастнаго, вѣроятно, искалѣченнаго чело-вѣка. Мнѣ страшно было думать, что всѣ эти жестокости и ужасы продѣлывались людьми, сидѣвшими за дверью нашей комнаты. Куда-то насъ съ тобой забросить теперь судьба, милый мой мальчикъ?! — вздохнула художница.

Воздухъ пьянилъ послѣ долгаго заключенія въ четы-рехъ стѣнахъ. Отъ сквернаго питанія — почти голодовки, ноги ослабѣли, и идти по таявшему снѣгу было тяжело. Но на блѣдномъ, сильно осунувшемся лицѣ Вероники свѣтилась улыбка.

Послѣ длиннаго перехода, пришли къ двухэтажному бѣлому зданію съ желѣзными рѣшетками на окнахъ, съ же-лѣзной оградой у входа, подлѣ котораго стоялъ часовой. Ограду открыли, и черезъ корридоръ вошли въ дежурную комна-ту, гдѣ конвойные сдали арестованныхъ коменданту тюрьмы.

XI

Въ концѣ узкаго темноватаго корридора открыли двѣ камеры одну противъ другой. Въ одну ввели Веронику, въ другую — ея брата. Обѣ камеры были свѣтлыя въ три окна, съ широкими, во всю длину комнаты, деревянными нарами. Обитательницы камеры, въ числѣ десяти человѣкъ, встрѣ-тили Веронику радушно. Сейчасъ ей было отдѣлено мѣсто на нарахъ. Зная по опыту, что въ особомъ отдѣлѣ кормили впроголодь, находившіяся въ камерѣ жепщины подѣлились съ Вероникой своими скромными запасами. Черезъ продѣланное въ дверяхъ окопце она вскорѣ увидала черезъ корридоръ ли-чиико своего брата, бодро улыбавагшагося ей въ рамкѣ такого же крошечнаго двернаго оконца.

— Попроси для меня кружечку или стаканъ, — обра-тился онъ къ сестрѣ. — Здѣсь топится печка, и всѣ приго-товляютъ чай. Я бы тоже могъ выпить.

Вероника передала брату, черезъ стоявшаго у двери дежурнаго часового, кружку, чай и часть того, чѣмъ ее уго-стили въ камерѣ. Мальчикъ сразу повеселѣлъ, предвидя, что въ тюрьмѣ жить будетъ легче и веселѣе.

Камера, въ которую посадили Веронику, оказалась по составу своему буржуазной, а потому чистой, опрятной и спокойной. Всѣ дамы, какъ водится въ тюрьмѣ, съ мельчайшими подробностями рассказали ей исторію своего ареста. Однѣ рассказывали спокойно, другія со слезами. Все это были одни и тѣ же нелѣпыя обвиненія въ контрреволюціонныхъ замыслахъ, или же аресты въ засадахъ, безъ всякаго обвиненія, или же, какъ и Вероника, арестованныя за желаніе перейти границу Финляндіи. Сидѣвшія въ этой камерѣ были милыя и симпатичныя женщины, покорно несшія возложенный на нихъ крестъ. Такъ какъ тюрьма имѣла связь съ внѣшнимъ міромъ, посредствомъ приѣма два раза въ недѣлю, то были книги, кое какая посуда, маленькіе запасы провизіи, смѣны бѣлья. Все это казалось для Вероники комфортомъ послѣ долгой отрѣзанности въ особомъ отдѣлѣ, гдѣ не было смѣны бѣлья, гдѣ голодная жизнь на соломѣ на полу, безъ книгъ, безъ возможности даже чисто умыться, очень походила на жизнь затравленнаго звѣря. Прошло нѣсколько дней, и эта тюремная обстановка, начала давить, угнетать, расшатывать нервы и организмъ и стала невыносимой, но въ первые дни душа отдыхала, не чувствуя вокругъ себя атмосферы затаенныхъ ужасовъ особаго отдѣла.

Въ первую ночь Вероника наслаждалась сознаніемъ, что спать не на полу въ одной комнатѣ съ часовыми, которые курили скверную махорку, плевали, харкали и храпѣли. Утромъ она испытала новую радость отъ возможности умыться подъ краномъ въ кухнѣ, куда выпускали изъ камеръ партіями. Хотя кипятокъ получался не ранѣе часу дня, но брать его изъ куба можно было вдоволь, и чай пили съ комфортомъ, т. е. съ хлѣбомъ, котораго выдавали по фунту въ день. Утромъ и вечеромъ въ кубѣ приготавливали кипятокъ, а среди дня арестованныя топили въ кухнѣ печку и разрѣшено было партіями готовить себѣ, кто что хотѣлъ изъ принесенныхъ на приѣмъ продуктовъ, которые были все той же картошкой или пшенной крупой. Хотя вся узкая жизнь тюрьмы протекала на узкомъ пространствѣ твердыхъ наръ, но за книгой и въ вознѣ съ приготовленіемъ чая и какой-нибудь фды изъ имѣвшихся скудныхъ продуктовъ, передаваемыхъ въ приемные дни заботливой Сонечкой, день проходилъ довольно скоро. Прогулокъ не было, но нѣкоторые часовые относились сочувственно къ участи заключенной буржуазіи и охотно задерживались лишнія минуты на дворѣ, черезъ который надо было пробѣгать въ уборную самаго гнуснаго устройства.

На другой день послѣ водворенія въ тюрьмѣ, Вероника написала слѣдователю прошеніе. Съ напряженнымъ нетерпѣ-

ніемъ она ожидала отвѣта. Черезъ два дня въ камеру явился помощникъ коменданта и объявилъ, что только что былъ телефонъ изъ особаго отдѣла: слѣдователь велѣлъ передать, что ея братъ на слѣдующій день будетъ освобожденъ. Отъ радости у Вероникъ учащенно забилося сердце. Въ ея воображеніи всталъ образъ слѣдователя со змѣиными глазами и движеніями. Она чувствовала, что за эту громадную радость, за освобожденіе ребенка изъ тюрьмы, она изъ глубины своего сердца всегда, когда бы ни вспомнила, этому жуткому челоуѣку пошлетъ такую же горячую волну радостной благодарности, которой была окутана сама въ тотъ моментъ.

Она бросилась къ двери и попросила вызвать къ окошечку брата.

— Завтра тебя освободятъ, — сіяя улыбкой и глазами, сообщила она ему.

Все личико мальчика залилось краской отъ неожиданнаго счастья.

На слѣдующій день въ полдень часовой вызвалъ изъ камеры Вероникъ. Со своимъ спортсменскимъ мѣшкомъ за плечами, въ кожаной курткѣ въ корридорѣ стоялъ Андриуша счастливый, съ порозовѣвшимъ лицомъ.

— Меня выпускаютъ. Вероника милая, до свиданія. Во вторникъ я приѣду къ тебѣ на пріемъ и привезу чего-нибудь поѣсть.

— Попроси, чтобы въ особомъ отдѣлѣ тебѣ дали на дорогу денегъ изъ отобранныхъ у насъ при арестѣ. Поѣзжай къ баронамъ Гельмъ, попроси Анну Федоровну пріютить тебя, пока моя участь рѣшится...

— Ты не безпокойся, я устроюсь...

Часовой сталъ торопить, такъ какъ внизу ожидалъ конвойный, чтобы сопровождать мальчика въ особый отдѣлъ для отмѣтки и полученія документа.

Вероника крѣпко обняла брата. Ея сердце освобождалось отъ гнетущей тоски въ сознаніи, что ребенокъ томился въ неволѣ по ея винѣ. У него радостно блестѣли глаза и улыбалось покраснѣвшее отъ счастья лицо. Изъ окошечекъ камеръ выглядывали лица арестованныхъ, сочувственно улыбавшихся радости освобожденнаго мальчика. Вскинувъ движеніемъ плечъ привязанный за спиной спортсменскій мѣшокъ со смѣной бѣлья и любимой морской книжкой, мальчикъ еще разъ обнялъ сестру и быстро, почти бѣгомъ, направился къ выходу въ концѣ корридора.

Съ несбѣгающей съ лица улыбкой, художница сѣла на свое мѣсто на нары и взялась за книжку, которую цѣлыми днями не выпускала изъ рукъ, но отъ радости она не могла

читать. Она съ облегченіемъ вздохнула при мысли, что въ окошечкѣ противоположной камеры не будетъ появляться милое, всегда доброе личико маленькаго узника и что, постѣ двухъ съ половиной недѣль, онъ, наконецъ, сможетъ чистю помыться и протянуться на мягкой постели.

Съ освобожденіемъ брата, для художницы потянулись еще болѣе однообразные дни, сливавшіеся въ одну смутную и скучную череду.

Просыпались утромъ послѣ девяти часовъ, вставали съ наръ съ наболѣвшими отекшими членами отъ твердыхъ досокъ. Часовой открывалъ двери камеръ, и по пяти-шести человекъ, въ сопровожденіи выводного, спускались по холодной лѣстницѣ и черезъ дворикъ пробѣгали въ грязнѣйшее, безобразнѣйшее устройство уборной. Послѣ душной спертой атмосферы запертой камеры было наслажденіемъ выбѣжать на дворъ и вдохнуть всей грудью холодный утренній воздухъ. По очереди, маленькими партіями шли въ кухню мыться изъ-подъ крана. Если вода почему-то изъ-подъ крана не шла, то приходилось умываться водой, оставленной съ вечера въ бутылкахъ. Потомъ ожидали кипятокъ для чая. Питье чая и всякая ѣда вносили нѣкоторое развлеченіе. До обѣда сидѣли на нарахъ съ книжками, починали свое бѣлье, штопали чулки. Посылались на работу — въ видѣ чистки сада въ трибуналѣ, мытья половъ и лѣстницъ въ особомъ отдѣлѣ и тюрьмѣ. Дамы и дѣвушки лучшаго общества выполняли эти работы безропотно, часто со смѣхомъ. Иногда удавалось выпросить самимъ принести съ озера воды для чаю. Ходили втроемъ, въ сопровожденіи часового. Озеро было не далеко, и затворницамъ тюрьмы прогулка эта казалась прелестной. Къ тремъ часамъ приносили въ камеру порцію хлѣба по одному фунту и сахарный песокъ, который тщательно дѣлили поровну. Въ четыре часа каждая камера шла съ самой фантастичной посудой — до консервныхъ пустыхъ жестяныхъ банокъ включительно, во дворъ получать похлебку, гдѣ ее готовили въ походномъ, всегда чѣмъ-то отдающемъ, котлѣ. Похлебка была жидкая, скверная, съ очень незначительнымъ количествомъ крупы и полнымъ отсутствіемъ жировъ. Когда темнѣло, — зажигалась электрическая, висѣвшая посреди потолка, лампа.

Вечеромъ опять грѣли въ кухнѣ воду для чая. Къ одиннадцати — устраивали на нарахъ постели, кто изъ чего могъ, и ложились спать. Смѣнялись часовые, входили въ камеры и подсчитывали арестованныхъ. То-же происходило каждые четыре часа и ночью. Солдаты, гремя ключами и засовами, входили съ фонаремъ, стучали сапогами; считая спящихъ, иногда цинично острили, смѣялись и громко пере-

говаривались. Вероника каждый разъ просыпалась и каждый разъ спросонья недоумѣвала: что это за люди?

Благодаря тому, что комендантъ тюрьмы — совершенно простой паренъ — былъ добрый и отзывчивый человекъ, заключеннымъ дѣлали нѣкоторыя послабленія, на много облегчавшія ихъ положеніе: часовые отпирали камеры и позволяли на короткій срокъ навѣщать другъ дружку. Наибольшей радостью въ заключеніи былъ, конечно, пріемный день. Съ тревогой ожидали пріемныхъ часовъ. Свиданіе въ общей комнатѣ въ первомъ этажѣ минутъ на двадцать давало бодрость и силу выносить заключеніе, близость конца котораго никто предугадать не могъ. Многіе сидѣли, не зная за что, будучи арестованы, какъ это безпрестанно практиковалось, въ засадѣ. По большей части, дѣла, неизвѣстно почему, затягивались до безконечности.

Каждый пріѣздъ брата, съ короткимъ свиданіемъ на четверть часа, вписилъ для Вероники свѣжую струю жизни въ сумракъ тюремнаго заключенія. Жизнерадостный мальчикъ, умѣвшій приспособиться ко всякимъ обстоятельствамъ жизни, счастливый своей свободой, пріѣзжалъ къ сестрѣ съ пѣлымъ запасомъ всякихъ рассказовъ о самодѣльных удочкахъ, уже заготовленныхъ имъ къ лѣту для ловли рыбы, о сѣменахъ для какого-то предполагаемаго гдѣ-то огорода, о необыкновенномъ перочинномъ ножикѣ, подаренномъ Рязанцевой, взамѣнъ любимаго, отнятаго комендантомъ въ тюрьмѣ.

Иногда онъ доставалъ изъ кармана, который былъ хранилищемъ всякихъ драгоценностей, два кусочка сахару, бережно завороченныхъ въ клочокъ бумаги и передавалъ сестрѣ, съ улыбкой удовлетворенія.

Послѣ пятнадцати минутъ свиданія, часовой заявлялъ, что пора расходиться. Вероника горячо обнимала и крестила темную головку и подымалась въ камеру, съ облегченнымъ сердцемъ.

Въ камерѣ, гдѣ находилась Вероника, не смотря на скученность, никогда не происходило не только ссоръ, но даже мимолетныхъ недомолвокъ. Царила удивительная гармонія и мягкая, снисходительная ко взаимнымъ слабостямъ, уступчивость.

У окна, на тюфячкѣ съ чистой простыней, подушкой и одѣяломъ, съ еженедѣльной, приносимой дѣтьми изъ дому, смѣной бѣлья и обильными порціями хорошихъ для того времени продуктовъ, помѣщалась красивая, чистоплотная еврейка, сидѣвшая въ заключеніи уже нѣсколько мѣсяцевъ, за какое-то дѣло, въ связи съ бѣжавшимъ мужемъ за границу, тоско-

вавшая о брошенных дома троихъ дѣтяхъ подросткахъ и имѣвшая основаніе опасаться, что ее могутъ далеко и на долго сослать. Она дѣлилась иногда своими продуктами, но, даже наиболѣе голодные, стѣснялись брать и никто не завидовалъ ни ея тюфяку, ни ея чистому бѣлью.

Рядомъ съ ней помѣщалась необычайно тихая, кроткая и благожелательная для каждаго, дѣвушка лѣтъ тридцати-пяти Елена Ивановна. Она была очень худа, и слаба здоровьемъ, но душа у нея была большая и сильная. Она никогда не плакала и не жаловалась на судьбу, хотя уже сидѣла второй мѣсяцъ, не отгадывая даже, въ чемъ ее обвиняли. Она узнала, что ея двоюродный братъ, бывший офицеръ, бѣжавшій съ молодой женой черезъ границу Финляндіи, былъ пойманъ и арестованъ, но черезъ сутки очень ловко и дерзко ночью бѣжалъ вмѣстѣ съ женой изъ-подъ ареста и исчезъ безслѣдно. Не смотря на то, что у него была въ Петроградѣ сестра, которая могла всегда опасаться, ее не тронули, а въ тотъ же день арестовали рѣдко видѣвшуюся съ нимъ, изнуренную лишеніями и голодомъ, двоюродную сестру Елену Ивановну.

Она цѣлыми днями что то зачинала, склонивъ блѣдное узкое лицо надъ работой, съ бѣлой, на самый лобъ надвинутой, косынкой, повязанной по деревенски на головѣ.

Съ ней рядомъ была сильная, крѣпкаго здоровья, привлекательная, въ первые дни ареста съ ярко-алыми пухлыми, потомъ опавшими и поблѣднѣвшими, щеками, семнадцатилѣтняя Мэри съ матерью, — женой бывшаго кавалергарда и адъютанта Государя, заключеннаго въ томъ же корридорѣ въ общей мужской камерѣ. Всѣ трое были арестованы вскорѣ послѣ ареста Вероники, поплатившіеся, какъ и другіе, за довѣріе къ провокаторамъ, сѣлившимъ безопасный переходъ черезъ границу. Мать, и дочь стойко выносили постигшее ихъ несчастіе, поддерживая и ободряя другъ друга. Мать, по происхожденію англичанка, съ миловиднымъ, по дѣвичьи нѣжнымъ и чистымъ лицомъ, ясными, голубыми глазами, была прекрасна мягкой, тихой манерой въ обращеніи со всѣми, полной благородства и неподдѣльнаго барства. Съ ея появленіемъ Вероникѣ показалось, что камера стала свѣтлѣе.

Вслѣдъ за пожилой, безцвѣтной, единственной мало чистоплотной прибалтичкой, занимала мѣсто на нарахъ некрасивая, очень экспансивная, симпатичная, бодро переносившая свое заключеніе, сестра милосердія, храбро пытавшаяся пробраться къ отцу и матери въ Финляндію по морю мимо сторожевыхъ патрулей. Ее замѣтили, поймали, избили, всю обобрали и прислали въ тюрьму.

Рядомъ съ ней была пожилая, сохранившая слѣды красоты, жена бывшаго военного агента въ Берлинѣ. Каждый день она впадала въ отчаяніе, горько плакала, жаловалась, увѣряла, что не вынесетъ этого безсмысленнаго, ни на чемъ не обоснованнаго заключенія. Она, также какъ легко приходила въ отчаяніе, также легко и успокаивалась, вытирала покраснѣвшія отъ слезъ глаза, вздыхала и улыбалась на шутку.

Художницу забавляло несоотвѣтствіе ея прекраснаго французскаго языка и такихъ же манеръ съ рваной, до крайности мятой и затрепанной юбкой клѣтчатой — черное съ бѣлымъ.

— Ни за что, ни за что не хочу, чтобы мнѣ сестра изъ дому другую юбку принесла, — упрямо повторяла она каждое утро, брезгливо надѣвая ее. — Вотъ такъ и буду чучелой ходить хоть годъ! Ихъ тюрьмы лучшаго не стоятъ... О Господи, да когда же окончится для меня эта мука?! Что они выдумали держать меня тутъ цѣлыхъ два мѣсяца! Я съ ума сойду... Я заболѣю... Я умру тутъ... — жаловалась она плаксивымъ голосомъ. Иногда же эти жалобы переходили совершенно неожиданно въ гнѣвъ.

— Voici à quoi mène le liberalisme! Maintenant chacun de nous est dans le pouvoir de ces idiots, de ces cretins... La guine, la prison, la mort... Ахъ, я больна, совершенно больна! Милая Вероника Антоновна, укройте меня; у меня жаръ и голову ломить. Я такъ и знала, что свалюсь въ этой помойной ямѣ.

Вероника бережно укрывала ее. Жару не было, но отъ нервной подавленности текли слезы.

— Елена Алексѣевна, берегите ваши нервы и не впадайте въ отчаяніе, — пробовала уговорить ее художница.

— Охъ не могу я больше терпѣть эту гадость, эту полную неизвѣстность, — плакала ослабѣвшая женщина, повторяя одно и то же тономъ обиженнаго, раскапризничавшагося ребенка.

Однажды утромъ, совершенно неожиданно раскрылась дверь камеры, и часовой велѣлъ ей собирать вещи и идти выписываться. Она до такой степени была поражена этимъ неожиданнымъ освобожденіемъ, что не хотѣла ему вѣрить; сѣла на нары, сложила на колѣняхъ руки и строго посмотрѣла въ глаза красноармейцу:

— Что это вы выдумали? Что это за шутки?!

Но не прошло и минуты, какъ, крестясь и творя благодарственную молитву, она, съ помощью окружавшихъ ее дамъ, принялась какъ попало, нервно сбрасывать въ кучу свои вещи.

Забавнымъ и отраднымъ въ тюрьмѣ явленіемъ были двѣ личности: всегда вздохмаченная свѣтлая блондинка мѣщанка Вѣра лѣтъ девятнадцати, арестованная по чьему то доносу и обвиняемая въ кражѣ цуда муки изъ кооператива, гдѣ она служила, и комендантъ тюрьмы молодой парень, ежедневно навѣщавшій арестованныхъ и иногда засиживавшійся, чтобы поболтать въ „буржуазной“ камерѣ.

Вѣру подкармливали окружающія ее дамы, такъ какъ къ ней никто не приходилъ, не зная объ ея арестѣ. Она трогала своей удивительной готовностью всѣмъ услужить. Мытье пола и нарѣ Вѣра взяла на себя, такъ какъ лучше всѣхъ это дѣлала. Она готова была хоть по сто разъ бѣгать въ кухню за кипяткомъ, подметать вѣникомъ полъ, приставала къ часовому, чтобы онъ открылъ дверь, чтобы передать что-нибудь въ сосѣднюю камеру по порученію. Уходя, она чуть не со слезами со всѣми прощалась. На слѣдующій день утромъ, дверь камеры съ шумомъ распахнулась и, съ сіяющимъ лицомъ, влетѣла Вѣра:

— Я должна еще три дня отсидѣть. Очень рада, что еще побуду съ вами...

Комендантъ тюрьмы — Обмочкинъ, не смотря на то, что былъ совершенно простой парень, обладалъ чуткой и культурной душой. Онъ грубо выражался, но грубъ ни съ кѣмъ не былъ. Его слабостью было отнимать всякій, попавшійся ему на глаза, ножикъ, хотя бы это былъ самага невиннаго свойства маленькій перочинный ножикъ, такой необходимый въ тюремномъ обиходѣ. Въ этомъ случаѣ никакіе уговоры на „товарища Обмочкина“ не дѣйствовали: увидѣнный имъ у кого-нибудь ножикъ безвозвратно исчезалъ въ его карманѣ.

— Нѣтъ ужъ, этого въ тюрьмѣ не полагается.

— Да какъ же безъ ножика, товарищъ Обмочкинъ? Отдайте пожалуйста.

— А какъ хошь! Ножикъ вещь опасная... вострая...

Арестованные дамы улыбались, воздерживаясь указать на то, что гораздо болѣе опасный инструментъ — топоръ былъ разрѣшенъ для колки щепокъ и переходилъ изъ камеры въ камеру безпрепятственно.

Во всемъ остальномъ комендантъ Обмочкинъ, по мѣрѣ силъ, облегчалъ участь арестованныхъ. Когда отсутствіе прогулокъ становилось невыносимымъ, онъ уступалъ просьбамъ и разрѣшалъ, подъ видомъ уборки двора, побыть въ немъ, чтобы подышать свѣжимъ воздухомъ. Позволялъ, въ сопровожденіи конвойныхъ, ходить изрѣдка на прудъ за водой для куба; позволялъ, т. е. дѣлалъ видъ, что не знаетъ объ этомъ, на нѣсколько минутъ навѣщать сосѣднія камеры.

Однообразно проходили дни за днями. Жизнь тянулась сѣрай, мутная, тоскливо безпросвѣтная.

Къ радости обѣихъ сторонъ, въ сосѣдную съ Вероникой камеру, была переведена вся семья князей Коницыныхъ, кромѣ Сергѣя, котораго помѣстили въ верхнемъ этажѣ вмѣстѣ съ Зоненфельдомъ. Николай и Алека были освобождены. Благодаря спусходительному отношенію часовыхъ, Вероника и Коницыны могли навѣщать другъ друга и обмѣниваться новостями тюремной жизни, которыя, точно по беспроволочному телеграфу, непонятнымъ образомъ, передвались изъ Шувалова въ Озерки и даже гораздо дальше изъ Гатчины и Сестрорѣцка, гдѣ содержалось въ это время не мало заключенныхъ.

Княгиня Анна Николаевна по прежнему была полна сосредоточеннаго спокойствія; какъ будто бы жизнь ея протекала не въ тюрьмѣ со всѣми ея лишеніями, а въ комфортабѣ прежней обстановки. Она спала, какъ и всѣ, на твердыхъ нарахъ, одѣтая, безъ подушки и одѣяла; вставая утромъ, не охала, не стонала, ни однимъ словомъ не жаловалась на скверную ночь, на болѣвшіе бока. Въ камерѣ оказались паразиты. Софья, Мая и жена Сергѣя были въ отчаяніи. Анна Николаевна, спокойно отнеслась и къ этому испытанію, принявъ, мало помогавшія, мѣры въ видѣ мытья паръ. Однако, не выдержавъ режима тяжелой обстановки, она тяжело заболѣла. Въ лазаретъ ее не перевели, не смотря на сильно повышенную температуру. Она безропотно, безъ жалобъ лежала вся въ жару на деревянныхъ нарахъ, стараясь чѣмъ возможно помочь себѣ и принимая, съ улыбкой благодарности, усиленную помощь окружавшихъ ее. На всѣ соболѣзнованія она замѣчала, что такова воля Господа, что она вѣритъ въ Его мудрость. Одинъ только разъ она высказалась передъ Вероникой безъ громкихъ фразъ, безъ слезъ:

— I am very tired and shall be glad te die*), — просто сказала она, закручивая на макушкѣ распущенные порѣдѣвшіе волосы.

XII ·

Баронъ Николай Федоровичъ Гельмъ давно находился въ состояніи желчнаго раздраженія. Жизнь стала невыносимой. Вся квартира была заперта. Вещи портились отъ промозглой атмосферы петопленныхъ цѣлую зиму комнатъ, съ температурой, доходившей до 10° и 12° мороза. Ютились въ одной комнатѣ, гдѣ кое-какъ удавалось черезъ день или черезъ два протопить печь. Семья изнемогала отъ холода, отъ недоѣданія.

*) Я очень устала и буду рада умереть.

Вѣра Федоровна, исхудавшая еще больше, осунувшаяся и блѣдная, раннимъ утромъ тащи́лась далеко пѣшкомъ къ мѣсту своей службы, оплачиваемой скуднымъ пайкомъ хлѣба, нѣсколькими селедками и опротивѣвшей, послѣдняго сорта пшенной крупой. Старушка поднималась первая на разсвѣтъ и распухшими отъ холода пальцами растапливала „буржуйку“, чтобы приготовить для Вѣры Федоровны кофе-суррогатъ и отварить нѣсколько штукъ перемерзлаго картофеля. Въ полутемной, ночникомъ озаренной, кухнѣ невысыхающія тряпки и швабра примерзали къ полу, къ полкамъ. Заледенѣвшая посуда обжигала красные, вспухшіе пальцы. Бѣдная старушка терпѣливо переносила страданіе, глядя на измученныхъ непосильнымъ трудомъ своихъ дѣтей.

Николай Федоровичъ, съ утра бѣгавшій по всякимъ темнымъ закоулкамъ города, чтобы потихоньку обмѣнять серебряную ложку или салфетку, или иную вещь на какіе-либо продукты, терялъ силы и энергію, все чаще и чаще наталкиваясь или на невозможность обмѣнять, или на обманъ. Вещей оставалось все меньше и меньше, достать что-либо становилось все труднѣе и труднѣе. Щадя мать и сестру, баронъ скрывалъ отъ нихъ катастрофичность положенія, которое, однако, краснорѣчиво себя заявляло. Спустивъ всѣ свои вещи, въ одномъ легкомъ пальто, иззябшій, изнуренный, еле раздобывъ нѣсколько фунтовъ мерзлой картошки и кусокъ сквернаго хлѣба, баронъ, нервно скосивъ ротъ, принимался стряпать на дымящей буржуйкѣ и грѣть воду для примитивной стирки бѣлья, которое для сушки развѣшивалось въ той же единственной жилой комнатѣ.

Когда темнѣло, — зажигался крошечный, едва озарявшій слабымъ свѣтомъ, керосиновый самодѣльный ночникъ.

Старушка, съ сильно ослабѣвшимъ отъ истощенія зрѣніемъ, тыкалась со слѣпу на мебель, не тѣда попадая, часто разливая или роняя то, что несла.

— Мама милая, оставь, — я сдѣлаю самъ.

— Да вѣдь ты же усталъ. Отдохни хоть немного. Посмотри, на что ты сталъ похожъ, мой бѣдный...

— Плевать на это!.. Надоѣло все, — закусывая нижнюю губу, сисясь сдерживать подступавшія слезы, бормоталъ баронъ. Старушка подавляла тяжелый вздохъ.

Когда было совсѣмъ темно, раздавались условныхъ три стука въ дверь. Входила Вѣра Федоровна. Молча, она опустилась на кресло и, въ изнеможеніи, долго сидѣла съ закрытыми глазами.

— Вѣрочка, хочешь ѣсть?

— Ничего не хочу. Потомъ. Я устала, какъ собака. Холодище сегодня на службу хуже, чѣмъ на дворъ. Окоче-

нѣли всѣ мы... Господи, когда-же избавленіе настанетъ?! Лучше смерть!..

— Что съ тобой, Коля? — спросила въ одинъ изъ такихъ вечеровъ Вѣра Федоровна, замѣтивъ крайнюю блѣдность на лицѣ брата.

— Усталъ я отчаянно. Полъ-дня бѣгалъ, ничего достать не могъ.

— Да ты не волнуйся. Намъ обѣщали на дняхъ выдать немного муки черной и селедокъ.

— Врутъ они, ничего не выдадутъ... Вѣрочка, не говори мамѣ, я узналъ скверную новость: Вероника Кампиони съ братомъ попали въ тюрьму; поймали-ли ихъ на границѣ или подъ провокацію они попались — неизвѣстно.

Вѣра Федоровна, тяжело вздохнувъ, опустила голову на ладонь:

— Или перемремъ, или всѣ тамъ очутимся... Я чувствовала, что не кончится эта затѣя добромъ.

— А потомъ вотъ еще что: Василій изъ домового комитета по секрету предупредилъ, что опять начались обыски и аресты. Надо припрятать наши остатки цѣнностей. Я мамѣ ничего не сказалъ, но ты дай свои кольца и серьги, я ихъ задѣлаю въ щель антресолей въ кухнѣ. На всякій случай, посмотри, гдѣ я положу. Мало ли что можетъ случиться...

— Боже мой, опять обыски! Силь не станетъ на эту муку...

— Да ну ихъ! Пусть роются, лишь бы цѣнностей послѣднихъ не нашли и ложекъ опять не переворovali бы.

— Откуда знаетъ Василій про обыски?

— Не говоритъ, а только очень многозначительно поглядываетъ.

— Ушелъ бы ты, Коля, на эти ночи куда-нибудь. Я такъ боюсь за тебя. Не дай Богъ, опять арестуютъ, — заволаговалась Вѣра Федоровна.

— Полно, Вѣрочка! Тогда намъ обоимъ надо уходить и бросать маму. И тебя арестовывали и могутъ опять арестовать и меня. Шансы одинаковы. Да и куда намъ уходить? Ну, одинъ разъ уйдемъ, а они прійдутъ черезъ недѣлю опять. Надоѣло все это до смерти, да и силъ больше нѣтъ. Я рукой махнулъ. — Баронъ сдавилъ руками голову.

— Только, Коля, помни одно: если тебя арестуютъ, я нигуда не тронусь, хотя бы и была возможность. Ужъ тогда погибнемъ всѣ тутъ...

Вошла мать, и разговоръ былъ прерванъ.

При тускломъ свѣтѣ ночника пили подогрѣтый кофе съ раствореннымъ въ графинчикѣ сахариномъ и ломтиками черстватаго хлѣба. Съ трудомъ, придвинувъ на край стола ночничокъ, Вѣра Федоровна силилась заштопать брату носки.

Къ полуночи, усталые, грустные и молчаливые легли спать. Вѣра Федоровна съ матерью спала на широкой тахтѣ, баронъ, отгороженный ширмой, спалъ на узкомъ бархатномъ диванѣ. Онъ долго ворочался, кашлялъ и тихонько вздыхалъ.

Въ тишинѣ глубокой темной ночи раздался грозный, многократный стукъ въ дверь. Баронъ мгновенно поднялся и чиркнулъ спичку, чтобы зажечь ночничокъ.

— Коля, да ты посмотри сперва электричество. Если горить, значитъ обыскъ, — поспѣшно набрасывая поверхъ сорочки теплое пальто, проговорила Вѣра Федоровна.

Яркій, непривычный для глазъ, свѣтъ залилъ комнату съ разбросанными вещами, неубранной на столѣ посудой, развѣшаннымъ по стульямъ бѣльемъ.

— Значить — обыскъ, — тоскливо отозвалась старушка, слясая, дрожащими отъ волненія руками, надѣтъ на себя платъе.

Стукъ въ дверь повторился настойчивѣе и сильнѣе.

— Слышимъ, слышимъ... подождете!.. Вѣрочка, возьми кольцо. Мама, надѣнь мой крестъ поскорѣе.

— Зачѣмъ ты снимаешь, Коля?.. Что ты?!

— Ахъ, мама, да надѣнь же, говорю я. Все можетъ случиться.

Если арестуютъ, отнимутъ теперь павѣрное.

— Христосъ съ тобой, голубчикъ. За что арестуютъ? Вѣдь недавно выпустили тебя. Я пойду открою, а то дверь ломаютъ.

Но баронъ опередилъ мать. Въ комнату ввалилось три красноармейца съ винтовками, два агента особаго отдѣла, женщина, мальчишка лѣтъ двѣнадцати и председатель домоваго комитета — Василій — бывший сапожникъ.

— Господи, сколько васъ тутъ! Можно подумать, что на облаву дикихъ звѣрей пришли, — язвительно усмѣхнулся баронъ. Желчная, брезгливая улыбка скосила линію его нервного рта.

— Оставь, Коля, — осторожно дернула его за рукавъ сестра.

— Коли пришли, значитъ такъ и надоть, — отозвалась женщина въ темно-коричневой вязанной кофтѣ, съ выпяченнымъ животомъ, бѣгающими крышными глазками и длиннымъ сухимъ носомъ на рябоватомъ лицѣ.

— Много ли комнатъ-то? — спросилъ юркій мальчишка, большеголовый, приземистый, бросая на столъ свою мѣховую шапку.

— На тебя хватитъ, — огрызнулся баронъ, бросая шапку со стола на стулъ.

— Покажите вашъ письменный столъ и предъявите всѣ

документы, — обратился къ барону одинъ изъ агентовъ, худой, высокій, гнущійся парень въ неизмѣнно кожаной теплой курткѣ и такой же шапкѣ. — А вы обыскъ производите, — повернулся онъ въ сторону женщины и мальчика.

Открыли дверь въ сосѣднюю комнату, откуда пахло стужей и промозглостью. Старушка осталась въ жилой комнатѣ, гдѣ женщина начала перерывать постели, шарить въ комодѣ. Вѣра Федоровна прошла съ братомъ и агентами въ кабинетъ. По дорогѣ зажигались всѣ электрическія лампы и при ихъ яркомъ свѣтѣ печально до трагизма выглядѣли запущенныя промерзлыя комнаты съ толстымъ слоемъ пыли на всѣхъ вещахъ, съ накатанными комыями мусора подъ мебелью и въ углахъ.

Агенты начали тщательно перерывать всѣ ящики письменнаго стола, въ которыхъ было больше кистей, масляныхъ красокъ и полотна, чѣмъ бумага.

— Вы рисованіемъ занимаетесь? — спросилъ барона агентъ.

— Сестра портреты пишетъ.

— Вотъ лучше и рисовали бы патреты, чѣмъ контрреволюціей заниматься.

— Помѣшались вы на этой контрреволюціи! — пожала плечами Вѣра Федоровна. — Какая можетъ быть политика въ головѣ, когда всѣ мы пухнемъ отъ голода и холода.

— Вы финляндскій подданный? — спросилъ барона другой агентъ съ пасмурнымъ лицомъ, сильно развитыми челюстями и несморящимъ въ глаза недобрымъ взглядомъ.

— Да.

— Николай Гельмъ? Бывшій баронъ?

— Не бывшій, а дѣйствительный баронъ. Въ Финляндіи титулы не упряднены.

— Тѣ-эксъ, — протянулъ, ухмыляясь, агентъ.

— Съ Манергеймомъ знакомы?

— Нѣтъ, не знакомъ.

— Не знакомы, а сами въ родствѣ съ нимъ состоите?

— И не думаю.

— Какъ же это не думаете, когда сами о томъ говорили.

— Никому я этого говорить не могъ, — пожалъ плечами баронъ.

— Очень даже говорили и похвалялись, что вотъ, молъ, Финляндія станетъ наступать, такъ я, значитъ, родственникъ Манергейму: войдетъ въ Петроградъ, а я донесу ему, на кого слѣдуетъ.

— Вы слушаете всякихъ клеветниковъ, доносчиковъ и только попусту наполняете тюрьмы.

— Это по вашему — попусту, а по нашему — такъ

мало переловили, кого слѣдуетъ, — ухмыльнулся агентъ, перебирая пачку съ фотографіями. — Кто это такой?

— Принцъ Ольденбургскій.

— Что же фотографію его держите? Родственникъ вамъ, что ли?

— Я окончилъ правовѣденіе. Ольденбургскій былъ моимъ начальствомъ. Честный и хорошій старикъ. Много добра сдѣлалъ.

— Надѣлали добра!... Нечего сказать! — Агентъ швырнулъ фотографію на столъ. — Гдѣ у васъ книжный шкафъ?

Въ это время въ сосѣднюю комнату вошелъ мальчишка, солдатъ и за ними старушка — баронесса.

— Боже мой, какъ они все перерываютъ, все швыряютъ, — тихонько пожаловалась она дочери.

Мальчишка подошелъ къ „булю“ красного дерева, открылъ его и сталъ вышвыривать на полъ всякую, находившуюся тамъ мелочь.

— Зачѣмъ ты это все роешь? Видишь вѣдь, что ничего тутъ нѣтъ. Ну, вотъ карты разбросалъ! — строго замѣтила ему Вѣра Федоровна.

— Коли разбросалъ, такъ потомъ соберете, — грубо отвѣтилъ мальчикъ, проводя указательнымъ пальцемъ подъ носомъ и сворачивая вбокъ толстыя губы.

— Зачѣмъ вы дѣтей развращаете? Зачѣмъ учите ихъ этому скверному ремеслу и толкаете на воровство? — укоризненно покачала головой Вѣра Федоровна.

— Это не развратъ, а служба государству, — хмуро отвѣтилъ молчаливый агентъ.

— Мама, уходи ради Бога изъ этихъ комнатъ; вѣдь ты простудишься, — умолялъ баронъ, но старушка не хотѣла оставаться безъ дѣтей.

Долгихъ три часа длился самый тщательный обыскъ. Ничего подозрительнаго найдено не было. Агентъ отобралъ у барона всѣ его документы.

— Вы поѣдете съ нами, — обратился онъ къ нему.

— Боже мой!.. — всплеснула руками старушка, — опять арестъ!.. Коля, дитя мое, за что же это?! — Рыдая, она бросилась къ сыну.

— Мапочка, не плачь, не надо имъ видѣть наше страданіе.

— Да вѣдь его въ ноябрѣ только выпустили изъ тюрьмы! За нимъ никакой вины нѣтъ. Чья-нибудь гнусная клевета. Сажаете, выпускаете, опять сажаете... Терзаете цѣлую семью... глумитесь надъ людьми, — гнѣвно проговорила Вѣра Федоровна.

— Коленька, дружокъ мой, какъ же я опять безъ тебя останусь?!... Бѣдный мой, мученикъ... — Старушка, схвативъ обѣими руками шею сына, тихо рыдала, припавъ головой на его грудь.

— Мама, мамочка... не надо... Богъ милостивъ... будемъ молиться...

— Сердца у этихъ людей нѣтъ... въ звѣрей обратились... О, когда-нибудь вспомните вы всѣ страданія, всѣ слезы материнскія... на своихъ дѣтихъ вспомните...

— Вѣрочка, успокой маму... я не выдержу... я... я... самъ разрываюсь. Миѣ все равно, я ничего не боюсь, но за что они ее терзаютъ?!...

Вѣра Федоровна перекрестила брата дрожащей рукой и, еле сдерживая рыданія, тихонько отвела мать въ сторону.

— Пледъ ему надо дать... мыло, полотенце, подушку... хлѣбъ, хлѣбъ отдай ему, Вѣрочка, весь, что остался... — старушка, шатаясь, направилась въ жилую комнату. Баронъ спѣшно свертывалъ въ пледъ полотенце, смѣну бѣлья и туалетныя принадлежности. Агенты торопили. Уже въ пальто, съ сакомъ въ рукѣ, баронъ еще разъ обнялъ и перекрестилъ сестру и, подойдя къ матери, неожиданно разрыдался, упавъ передъ ней на колѣна:

— Бѣдная моя старушка! Какъ вы тутъ безъ меня проживете!.. — Онъ обнялъ колѣни матери, припавъ къ нимъ и роняя частыя крупныя слезы.

Мать съ трудомъ выпустила изъ своихъ дрожащихъ объятій любимаго, всегда нѣжнаго и заботливаго сына.

Когда глухо захлопнулась дверь, старушка упала на колѣни передъ диваномъ съ неубранной постелью сына; силы покинули ее, и она лишилась чувствъ.

XIII

Тоскливо и однообразно, какъ мутный осенній дождикъ, проходили въ тюрьмѣ дни за днями. А на дворѣ между тѣмъ стояли чудесные первые дни ранней весны. Сквозь рѣшетчатые полуоткрытыя окна камеры, гдѣ съ изнуренными лицами тѣснились на нарахъ заключенные, врывались потоки свѣта и струи воздуха, напоеннаго запахомъ свѣжей талой земли и первыхъ побѣговъ. Печальные взоры заключенныхъ подолгу останавливались на рѣдѣющемъ прогалинами березовомъ лѣску, уже изжелта-зеленѣвшемъ упругими почками. Изъ груди вырывался тяжелый вздохъ въ отвѣтъ на безотрадныя мысли.

Благодаря добротѣ коменданта тюрьмы, Вероникѣ удавалось, подъ видомъ уборки двора, на короткій срокъ подышать воздухомъ.

Сильно похудѣвшая, съ осунувшимся лицомъ, она подолгу стояла у частокола тюремнаго двора, всей силой фантазіи улетая въ дали голубыхъ небесъ и чуть зеленѣющихъ рощъ. Желѣзныя рѣшетки тюрьмы наложили оковы на ея бурную натуру со всеѣми порывами, желаніями, вѣрой въ себя и свои силы. Вероника испытывала какъ бы временную анестезію всеѣхъ своихъ силъ. Безъ страха и безъ тревоги она ждала рокового дня, когда ее позовутъ на судъ въ трибуналъ. Интуиція, никогда не обманывавшая ее, рисовала ей далекія картины будущаго, въ которомъ ей надлежитъ воскреснуть полной силъ и жизни.

Однажды по камерамъ разнесся жуткій слухъ, что бывший правовѣдъ Крузе, всегда весело болтавшій съ партіей дамъ при встрѣчахъ на лѣстницѣ, приговоренъ трибуналомъ къ разстрѣлу на протяженіи сорока восьми часовъ. Къ вечеру слухъ подтвердился: въ концѣ корридора у дверей одиночной камеры оказался часовой съ винтовкой въ рукахъ, запрещавшій близко подходить къ роковой двери, изъ-за оконца которой мелькало блѣдное, сразу измѣнившееся въ выраженіи глазъ лицо осужденнаго.

Въ комнатѣ № 3, въ которой находилась Вероника, царил тишина. Все были подавлены сознаніемъ, что близко, въ десяти-пятнадцати шагахъ, за такой же наглухо запертой дверью, томится въ предсмертной тоскѣ человѣкъ, каждую секунду ожидающій смерти за то, что стремясь къ счастью свободы, какъ и большая часть заключенныхъ въ этой тюремѣ, онъ хотѣлъ перешагнуть запретную пядь земли, отдѣлявшую совѣтскую Россію отъ Финляндіи.

Въ комнатѣ № 3 молча раздѣлись и молча улеглись на твердыя доски наръ. Зеленый лунный свѣтъ вливался черезъ высокія окна. Переплетъ желѣзныхъ рѣшетокъ лежалъ густо-черной тѣнью на полу и на лежавшихъ фигурахъ.

Широко открытыми, испуганными глазами смотрѣла передъ собой Вероника. Въ яркомъ свѣтѣ луны отчетливо до ужаса вставала передъ ней приближавшаяся съ каждой минутой картина разстрѣла Крузе. Она знала, что это произойдетъ черезъ нѣсколько часовъ: когда зеленый свѣтъ луны начнетъ таять въ первыхъ розово-блѣдныхъ лучахъ утренней зари, когда начнутъ чирикать встрепанные проснувшіеся воробы, заалѣютъ бѣлые стволы березъ розоватой краской, — тогда, знала она, появится на пустынной прогалинѣ блѣдный человѣкъ съ расширенными зрачками испуганныхъ глазъ. Онъ будетъ совершенно одинокъ, хотя его будутъ окружать нѣсколько вооруженныхъ людей. Раздастся хорошо знакомый слуху сухой звукъ ружей, и онъ упадетъ лицомъ

къ землѣ. Широко раскинувъ трепещущія руки, онъ обниметь мягкій, зеленѣющій душистый покровъ, подъ которымъ истлѣетъ на вѣки его молодое, сильное, жаждущее жизни тѣло...

Въ тоскѣ Вероника приподнялась на нарахъ. Ея мозгъ отказывался понимать чудовищную нелѣпицу, которая, вопреки логикѣ и разсудку, все-таки должна была совершиться въ силу какой-то жизненной путаницы.

— Нѣтъ, этого не должно быть... Не можетъ быть!.. Я вѣрю, что этого не будетъ, — громко произнесла она.

— Вы о Крузе говорите? — Тихо спросила жена бывшего адъютанта Государя, сдержанная даже въ моментъ высшаго напряженія тоски и горя.

— Да, о Крузе. Этого не должно случиться. Горячая молитва одного человѣка можетъ много сдѣлать, но совмѣстная молитва — гораздо сильнѣе. Помолимся всѣ сразу за Крузе... я чувствую, я знаю, что Господь не допуститъ. — Въ голосѣ Вероники звучала яркая нота внутреннего подъема.

Одна за другой поднялись на нарахъ и стали на колѣни лежавшія женщины. Въ лунномъ сіяніи четко вырисовывались ихъ силуэты, съ молитвенно склоненными головами и сложенными на груди руками.

— Не допусти, не допусти, Господи!... Сохрани ему жизнь, — со всей силой молитвеннаго напряженія повторяла Вероника. Ей казалось, что каждая изъ молящихся повторяла эти же слова и, сливаясь въ одномъ молитвенномъ порывѣ, онѣ должны проникнуть въ тотъ міръ, гдѣ совершается Божественная тайна человѣческихъ судебъ. Она улеглась съ успокоеннымъ сердцемъ и ясной увѣренностью, что Крузе останется живъ.

На другое утро часового у роковой двери не оказалось, и камера была пуста: Крузе увели... Куда, — никто ничего не говорилъ. И все-таки Вероника была спокойна: она чувствовала, что смерть его не коснулась. Черезъ нѣсколько дней въ тюрьму дошелъ слухъ, что онъ былъ отправленъ съ пятичасовымъ утреннимъ поѣздомъ въ Гатчино, гдѣ вторично должно было слушаться его дѣло.

Въ страстную пятницу, по липкой грязи немощеныхъ улицъ, повели подъ конвоемъ въ трибуналъ семью Коницыныхъ. У княгини была сильно повышена температура отъ громаднаго нарыва въ горлѣ, причинившаго страшную боль всей головы. Она говорила едва внятнымъ шопотомъ. Вели ее подъ руки. Было уже темно, когда они вошли въ камеру съ растерянными взглядами и блѣдными лицами: младшихъ членовъ семьи отпустили, но княгиню со старшей дочерью Маей — безпечную, кокетливую блондинку, съ неизмѣнной

папироской въ зубахъ, и сына Сергѣя осудили въ заточеніе.

Молча сгруппировались вокругъ нихъ дамы и, не находя словъ утѣшенія, думали о томъ, что многія встрѣтятся съ ними въ мѣстахъ заточенія.

На слѣдующій день въ Страстную Субботу лилъ непрестанный холодный дождикъ. Небо было обложено низкими, тяжелыми, сѣрыми тучами. Съ узлами на плечахъ Койицыны вышли за ворота тюрьмы, подъ охраной конвоя. Княгиня едва передвигала ноги, такъ какъ процессъ нарыванія еще продолжался, и температура была высокая. Ботинки ея промокли съ первыхъ же шаговъ. На княжнѣ Маѣ были открытыя туфли, единственная обувь, которую она имѣла.

Тоскливымъ взглядомъ, сквозь желѣзную рѣшетку оконъ, провожала Вероника измученную семью, покорно уходящую въ невѣдомое изгнаніе гнилыхъ и грязныхъ тюремъ.

— За что? Кто виноватъ во всемъ этомъ? — Назойливо и остро встать въ мозгу Вероники вопросъ.

— Народъ? Нѣтъ, не только народъ. Мы, мы сами виноваты. Виновата общественность. Ея пассивность, ея разрозненность, ея непониманіе психологіи собственного народа, эгоизмъ, близорукость въ оцѣнкѣ совершавшихся событій и отсутствіе гражданскаго мужества для протеста. Жизнь сосредоточивалась лишь на запросахъ личныхъ узкихъ интересовъ, и ничего для государства въ широкомъ значеніи слова... Россія давно катилась по уклону. Все сознавали это и все-таки съ преступной пассивностью катились внизъ. Въ результатъ — котель взорвало. Разрушенъ весь государственный аппаратъ, подъ обломками котораго придавленъ безформенный трупъ Россіи. И все-таки это не конецъ. Подъ обломками таятся зародыши новой жизни, и трупъ оживетъ...

Мысли эти медленно ползли въ усталой головѣ, въ то время какъ взглядъ провожалъ удалившуюся семью, медленно шагавшую по грязной, покрытой лужами, дорогѣ. Холодный дождь окутывалъ тоскливой сѣрой траурной сѣтью и безъ того мрачную картину шествія подь конвоемъ безъ вины осужденныхъ людей.

Заклученные перестали отличать дни, тянувшіеся въ тупомъ однообразіи. Единственными радостными для всей тюрьмы минутами было освобожденіе кого-нибудь изъ заключенныхъ. Происходило это всегда внезапно. Освобожденному отдавалось приказаніе немедленно собирать свои пожитки и идти въ канцелярію. Едва успѣвали торопливо попрощаться подь зоркимъ взглядомъ стоявшаго у дверей надзирателя. Шептались пожеланія и тайныя порученія. За взволнованнымъ, растеряннымъ отъ радости освобожденнымъ замыка-

лась дверь, и опять камера погружалась въ тоску однообразія и безцѣльности текущихъ часовъ, дней, недѣль...

Тяжелѣ всего было для Вероники выслушивание по многу разъ исторій ареста и всякихъ догадокъ, которыя въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ, съ тѣми же интонаціями, слезами и причитаніями, рассказывались арестованными. Она замѣчала, какъ въ выпѣвшихъ, омертвѣлыхъ краскахъ тюремнаго существованія, лишеннаго всякихъ притоковъ жизни, мысли топтались на одномъ и томъ же фактѣ, остро вклинившемся въ тоскующую мозгъ. Нельзя было не слушать, не соболѣзновать и не утѣшать все болѣе и болѣе слабѣвшихъ людей, хотя логика подсказывала, что многократно повторяемая утѣшенія теряли силу и дѣлались безцвѣтнымъ рисункомъ выдохшейся мысли.

Ночь была томительна съ безпрестанно прерывавшимся сномъ оттого, что доски нарѣ больно давили тѣло и приходилось безпрестанно мѣнять положеніе: оттого, что легкій сонъ нарушался звукомъ отпираемаго замка двери, топотомъ ногъ караула, входившаго въ камеру для передачи смѣны. Фонарь съ огаркомъ свѣчи бросалъ рѣжущій свѣтъ, останавливавшійся поочередно на лицѣ каждой лежавшей фигуры. Солдаты громко пересчитывали арестованныхъ, переговаривались, захлопывали дверь, тяжело щелкая замкомъ. Опять наступала тишина, но нарушенный сонъ бѣжалъ отъ глазъ. Унылыя мысли, какъ тягучая нота, тоскливо наполняли душную камеру, толпились вокругъ усталой головы и, какъ назойливыя мухи, тихо и однообразно жужжали все про то же бессмысленно-комшарное, во что обратилась жизнь Россіи.

Прошло много дней и недѣль. Стояло лѣто. Трое судей, малокультурныхъ, невѣжественныхъ людей, дѣлавшихъ, благодаря своей судейской безграмотности, неисчислимыя ошибки правосудія, судили Веронику и ея брата въ крошечномъ залѣцѣ деревянной дачки. Кромѣ парня Николая и его отца — лукаваго спекулянта-торговца, присутствовали на судѣ поваръ Тирбуновъ, поселившійся въ квартирѣ Вероники и, вызванный по этому дѣлу въ судъ, дворникъ дома, его дочь со своей подругой и еще какая-то еврейка-торговка.

Нервы были такъ остро натянуты, что цѣлый день, проведенный въ судѣ, прошелъ, какъ одинъ часъ.

Секретарша, записывавшая передъ началомъ суда опросный листъ, едва уловимымъ шопотомъ дала Вероникѣ нѣсколько полезныхъ совѣтовъ какъ и что говорить для защиты. Лицо ея, некрасивое тронутое оспой, свѣтилось выраженіемъ доброты и ласки.

Когда судьи, вышедшіе въ сосѣдную комнату для совѣщанія, вошли съ рѣшеніемъ суда и началось чтеніе протокола, у Вероники стремительно билось и замирало сердце.

Слова оправдательнаго приговора вызвали яркую краску, залившую ея лицо и шею. Она схватила за плечи стоявшаго рядомъ брата и крѣпко прижала его къ себѣ. Черезъ минуту ея лицо стало опять блѣдно: она почувствовала страшную моральную усталость, перешедшую въ состояніе покоя, граничившаго съ апатіей. Лишенная всякаго имущества, она была совершенно безразлична къ тому, какъ начнется ея борьба съ жизнью за стѣнами тюрьмы.

Ласковая секретарша, поклонница ея таланта, догнала ее въ воротахъ зданія трибунала и просила пробить у нея до утра, чтобы отдохнуть отъ всѣхъ переживаній тяжелаго дня. Художница съ благодарностью приняла приглашеніе. Вернувшись въ тюрьму, чтобы собрать вещи и попрощаться въ камерѣ съ оставшимися заключенными, она, со страннымъ чувствомъ спокойствія, порожденнаго моральной усталостью, покинула угрюмое зданіе тюрьмы съ рѣшетчатыми окнами, голыми стѣнами и душными камерами, гдѣ въ томительномъ и скорбномъ однообразіи протекло столько дней ея жизни.

XII

Послѣ тяжелыхъ переживаній въ тюрьмѣ, судьба привела Веронику въ крошечную деревянную дачку въ двѣ комнаты, съ незатѣйливой бѣдной обстановкой, съ крошечными оконцами, выходящими на зеленѣющія грядки огорода, съ маленькой кухонькой, гдѣ уже топилась плита, и секретарша трибунала — Наталья Михайловна, съ прекрасными сіяющими добротой глазами, спѣшила приготовить кофе и сварить кашу и картофель, — роскошный для отоцавшей художницы ужинъ. Вскорѣ пришелъ мужъ Наталіи Михайловны, такой-же тихій и ласковый глубокой неподдѣльной добротой человѣкъ, красивый, высокій, съ мягкими движеніями, съ ясными сѣрыми глазами и успокоительными для усталой души интонаціями голоса. Онъ затопилъ въ комнатѣ, гдѣ былъ накрытъ столъ, печку. Въ надвигавшихся сумеркахъ уютно запылало яркое пламя, перебѣгая по толстымъ полѣньяиъ и озаряя алымъ неровнымъ свѣтомъ маленькую комнату.

Сознавая себя на свободѣ и ощущая эту свободу въ покоѣ, окутавшемъ все существо, въ обстановкѣ, въ уютномъ укладѣ жизни двухъ ласковыхъ обитателей крошечной, почти убогой дачки, Вероника въ то-же время испытывала громадную усталость и физическую и душевную.

Облокотясь обѣими руками на край стола и поддерживая ладонями голову, она просидѣла почти неподвижно до поздняго часа ночи, съ устремленными на огонь глазами,

впитывая въ себя уютъ, тихую бесѣду и сочувственную ласку, которую читала въ глазахъ мужа и жены. Однако, ея не покидало непрестанно-щемящее чувство тоскливой, унылой душевной боли отъ сознанія, что тамъ за крошечными оконцами таится въ тишинѣ почти не миръ еще недавней счастливой дачной жизни, а безмысленная разлада, вражда, доносы, обманъ, аресты, пытки и разстрѣлы. Передъ глазами рисовалось унылое зданіе тюрьмы съ желѣзными рѣшетками, длинный темноватый корридоръ, всегда запертыя двери съ крошечными квадратными окошечками, голыя камеры съ длинными деревянными нарами, блѣдные изнуренные люди. Она чувствовала, что какъ бы далеко и гдѣ бы она ни была, никогда не ослабѣетъ эта натянута струна, связывающая ея съ тѣми, кто остался страдать въ тюрьмахъ Россіи.

Наталя Михайловна, съ безыскусственностью прямой и чистой натуры, рассказывала о томъ, что своимъ поступленіемъ секретаршей въ трибуналъ она надѣялась смягчить участь многихъ неповинныхъ жертвъ и что надежды ея оправдывались, такъ какъ судьи трибунала невѣжественные, но въ своемъ заблужденіи честные люди, считались съ ея мнѣніемъ и совѣтами, зная за ней многолѣтній опытъ судейской службы.

Хотя дачка иныхъ обитателей не имѣла, однако, по привычкѣ всего опасаться, бесѣду вели шопотомъ, передавая слухи о новыхъ надеждахъ на спасеніе со стороны бѣлыхъ въ лицѣ генерала Деникина, о предполагаемомъ, до тѣхъ поръ всегда обманчивомъ, выступленіи Финляндіи, о новыхъ декретахъ, о всеобщемъ облищаніи и отчаяніи, о недовольствахъ въ рядахъ красноармейцевъ... Всѣ эти слухи, бесплодно повторяемые безконечное количество разъ, все-таки вливали каплю надежды въ сердца истомленныхъ терроромъ людей.

Была поздняя ночь, когда Наталья Михайловна, какъ могла лучше, приготовила для художницы постель на скрипучей, покривившейся желѣзной кровати и, пожелавъ спокойнаго сна и отдыха, ушла съ мужемъ въ соседнюю комнату. Вероника медленно раздѣлась, распустила волосы, сѣла въ одной сорочкѣ на край кровати, уронила вдоль тѣла похუѣвшія руки и, счастливая быть послѣ долгихъ трехъ мѣсяцевъ, наконецъ, совсѣмъ одной, словно въ какомъ-то туманѣ, отдаваясь усталымъ медленно плывущимъ мыслямъ неяснымъ, расплывавшимся, какъ стерегушія подъ окномъ ночныя тѣни, долго сидѣла такъ, окутанная тепломъ натоленной печки и полной тишиной ночи. Она знала, что на слѣдующій день нахлынетъ тяжелая волна жизни, въ которой будетъ много новыхъ испытаній. Арестъ и тюрьма обрѣзали нить, конецъ которой надо было скрѣплять сызнова.

На слѣдующій день утромъ за Вероникой пріѣхала Со-

нечка. Она плакала радостными слезами, цѣлуя руки художницы и въ то-же время тяжело вздыхала, глядя на ея исхудавшее осунувшееся лицо, на усталыя движенія ослабѣвшаго тѣла.

Путь возвращенной свободы, на которой вступила Вероника, вырвавшись изъ тюрьмы, оказался усыпаннымъ такимъ терніемъ, что организмъ и нервы, сильно пострадавшіе за послѣдніе мѣсяцы, не выдержали и Вероника захворала. Реакція сказалась въ полной апатіи и такомъ душевномъ переутомленіи, что ей казались невыносимо трудными встрѣчи со знакомыми, съ ихъ повторявшимися разспросами о пережитой катастрофѣ.

Въ свою прежнюю любимую квартиру путь ей оказался отрѣзаннымъ, такъ какъ Наташа — жена повара Тирбунова, боясь, чтобы Вероника не искала возможности вернуть эту квартиру обратно, поселила въ одной изъ комнатъ свою пріятельницу — комисаршу — вліятельное лицо на Гороховой №2 и заявила, что прежнюю обитательницу квартиры она не впуститъ ни въ одну изъ комнатъ, такъ какъ она будетъ мѣшать ей.

Потерявъ всѣ вещи, всѣ деньги и всѣ цѣнности, Вероника поселилась въ громадной пустой квартирѣ особняка давно бѣжавшихъ въ Финляндію знакомыхъ. Родственниками бѣжавшей семьи была тайно внесена комисару громадная сумма, чтобы оберечь великолѣпную обстановку многочисленныхъ комнатъ. Комисаръ долгое время выполнялъ свое слово; послѣ освобожденія Вероники изъ тюрьмы, квартира эта была еще цѣла, и прекрасныя вещи, покрытыя чехлами, стояли, въ застывшемъ уныломъ покоѣ необитаемости, среди промозглой атмосферы нетопленныхъ залъ, роскошныхъ гостинныхъ и будуаровъ... Тяжелыя, краснаго дерева, двери осыпали съ трудомъ открывались. Водопроводъ не дѣйствовалъ, такъ какъ трубы зимой полопались отъ мороза. Въ самомъ концѣ квартиры, за всѣми многочисленными отсутствующими людскими, была небольшая кухонька съ двумя комнатами, гдѣ въ данное время поселился председатель домового комитета — полуграмотный человѣкъ съ женой и ребенкомъ. Въ кухонькѣ водопроводъ дѣйствовалъ, но не смотря на всѣ просьбы Сонечки, жена сапожника — вздорная и недобрая женщина, нарочно замыкала дверь, ведущую въ квартиру, чтобы затруднить, и безъ того тяжелую, жизнь выпущенной изъ тюрьмы Вероники, которую она называла „буржуйкой“.

Не смотря на лѣтнее время и открытыя окна, въ квартирѣ стояла промозглая сырость; Вероника дрожала отъ холода, лежа больная въ большой свѣтлой гостиной, заставленной дорогой обстановкой. Крытые яркимъ шолкомъ кресла и ди-

ваны, отдѣланные бронзой, розоваго дерева столики и зеркальные шкапки, шитыя шелкомъ ширмы — были по установленнымъ нормамъ дисгармоніей въ связи съ промерзлыми стѣнами, полной невозможностью протопить громадныя изразцовыя печи, съ голодомъ, съ отсутствіемъ всякаго примитивнаго комфорта. Чудилась злая насмѣшка жизни. Въ квартирѣ были двѣ великолѣпныя ванныхъ комнаты, съ прекрасными изразцовыми ваннами, но въ нихъ залегла темная, густая пыль: за отсутствіемъ воды онѣ были ненужны. На мраморныхъ умывальникахъ стояли никому ненужныя пустыя хрустальныя принадлежности туалета, и нельзя было нигдѣ купить всего того, что вмѣщалось въ нихъ раньше. Посуда была вся расхищена: вмѣсто нея пришлось употреблять гдѣ-то раздобытыя Сонечкой переломанныя, несоотвѣтствующія своему назначенію, вещи: вмѣсто чайника былъ кувшинъ, вмѣсто блюда — какая-то крышка, вмѣсто сахарницы — пепельница.

Оставшихся, отъ разграбленія въ тюрьмѣ, вещей было такъ мало и такъ трудно было ихъ продавать, что Вероника, стараясь отгонять жуткія мысли, закрывала глаза на будущее.

Не смотря на тщательный обыскъ при арестѣ, агенты все-таки проглядѣли старенькую кожаную коробочку, въ которую была вклеена нѣкоторая часть царскихъ денегъ. Не смотря на острую нужду, Вероника велѣла Сонечкѣ далеко запрягать эти деньги и забыть о нихъ: она была увѣрена, что эти деньги, спасенныя судьбой отъ зоркихъ глазъ тюремныхъ агентовъ, были предназначены для чего-то, что ждало ее впереди.

Началась странная жизнь въ роскошной обстановкѣ длинной анфилады высокихъ, залитыхъ солнцемъ апартаментовъ, гдѣ каждую минуту чувствовалась крайняя нужда. Хотя Сонечка понемногу находила лазейки для продажи кой-какихъ уцѣлѣвшихъ вещей, но достать какіе-либо продукты стоило невѣроятныхъ усилій и большихъ денегъ.

Подорванный тюрьмой организмъ требовалъ питанія, котораго не было.

Жизнь Петрограда, не смотря на длинные лѣтніе дни, совсѣмъ замерла. Улицы были свѣтлы, пусты и чисты. Не было мусора, потому что не было ни торговли, ни продуктовъ, ничего того, что создаетъ жизнь города. Люди, заолодѣвшіе въ зимней стужѣ нетопленныхъ квартиръ, преждевременно отцвѣтшіе, въ изношенныхъ одеждахъ, рѣдкими, молчаливыми прохожими двигались по солнечной сторонѣ тихихъ улицъ. Съ облупившимися судками, переломанными кувшинами, перевязанными бичевкой корзинками, они понуро шли въ совѣтскія столовыя, чтобы по карточкамъ достать лишнюю всякаго

жира похлебку и ломтикъ хлѣба. На лицахъ всѣхъ обывателей несчастной бывшей столицы застыло выраженіе покорнаго отчаянія и апатіи. Вероникѣ казалось, что ей снится страшная сказка про проклятый Господомъ, вымирающій медленной смертью, городъ.

Лучшія улицы, гдѣ стояли пышные дома, теперь поросли травой... Видъ этихъ широкихъ, пустынныхъ, озаренныхъ яркимъ солнцемъ улицъ, былъ трагиченъ для жителей Петрограда. Изъ раскрытыхъ оконъ бывшихъ особняковъ несло то нестройное фальшивое хоровое пѣніе пріютскихъ ребятишекъ, заселившихъ почти всѣ барскія квартиры по Сергіевской и Фурштадской, то однообразное тупое брельчанье немѣлыхъ пальцевъ на разбитыхъ рояляхъ одного и того же пошлаго мотива. По вечерамъ, въ унылой пустотѣ и тишинѣ, велись черезъ улицу беззащитныя разговоры изъ распахнутыхъ противоположныхъ оконъ домовъ, обитаемыхъ комиссарами и всякими странными, трудно опредѣляемыми людьми и дѣвцами.

Вероникѣ навѣщали выпущенные изъ тюрьмы молодые Коницыны, семья бывшего адъютанта Государя и тихая Елена Ивановна. Велись разговоры все на тѣ-же горькія темы объ оставшихся въ тюрьмахъ, томящихся заключенныхъ, о собственномъ полномъ раззореніи. Чувствовалась надтреснутая струна, вотъ вотъ готовая съ вошемъ сорваться. Вероника, не смотря на полный упадокъ собственныхъ силъ, силилась вдохнуть струю душевной бодрости тѣмъ, кто приходилъ къ ней, вѣря въ ея неисчерпаемую энергію.

— Что же дальше будетъ? Гдѣ вы зимой будете жить, Вероника Антоновна? Тутъ немислимо оставаться, — заботливо спрашивала Сонечка, окутывая зябнущія плечи Вероники спасеннымъ отъ грабежа мѣхомъ.

— Не знаю, Сонечка, совсѣмъ не знаю... Лучше не думать.

Тяжело было Вероникѣ видѣть осунувшееся, послѣ тюремной голодовки, личико брата и не имѣть возможности сытно покормить его. Приходилось питаться минимальными порціями хлѣба, выдаваемого по карточкамъ, и небольшимъ количествомъ картофеля и пшенной крупы, которыя Сонечкѣ съ большимъ трудомъ удавалось раздобывать.

Не прошло и двухъ недѣль послѣ освобожденія изъ тюрьмы, какъ Вероника была предупреждена, что Особый Отдѣлъ на Гороховой 2, очень раздраженный оправдательнымъ приговоромъ судившаго ее военного трибунала, намѣренъ опять арестовать ее съ тѣмъ, чтобы заточить въ одинъ изъ концентраціонныхъ лагерей.

Вероника выслушала это предупреждение совершенно спокойно. Гдѣ-то въ подсознаніи она черпала увѣренность, что, хоть и ослабѣвшими отъ тюрьмы ногами, но все же ей удастся перебѣжать границу, отдѣляющую ее отъ близкихъ сердцу, давно бѣжавшихъ друзей, — отъ культурной жизни въ Европѣ, гдѣ снова возродятся ея творческіе порывы.

Настали жаркіе іюльскіе дни. Мертвый городъ, залитый горячими лучами солнца, изнемогалъ отъ зноя. Лишь къ восьми часамъ спадала жара, и накаленные камни мостовыхъ и громадъ домовъ начинали остывать. Истомленные, ослабѣвшіе обыватели, послѣ душныхъ, переполненныхъ комнатъ на службѣ, послѣ возни съ приготовленіемъ скудной пищи, съ тоской смотрѣли черезъ открытыя окна на голубое, безстрастно раскинувшееся небо. Хотѣлось выйти на пустынную набережную, перейти мостъ и бѣжать подальше отъ улицъ, чтобы вдохнуть въ себя свѣжую струю воздуха за Невой на зеленыхъ островахъ. Но даже и этого, каждому человѣку доступнаго счастья, жители мертваго города были лишены, такъ какъ восемь часовъ вечера по солнцу — значилось на переведенной стрѣлкѣ часовъ — одиннадцать вечера, то-есть часъ, когда подъ страхомъ ареста было запрещено выходить изъ дому.

Однажды, когда городъ былъ погруженъ въ неподвижную тишину бѣлой ночи, къ воротамъ дома, гдѣ жила Вероника, подъѣхалъ автомобиль. Часовая стрѣлка показывала два часа ночи. Вероника почувствовала какъ бы толчокъ въ грудь. Сонечка сильно поблѣднѣла и истоиво перекрестилась. Единственное въ городѣ движеніе, кромѣ трамвайнаго, было немногочисленное движеніе автомобилей, въ которыхъ разъѣзжали коммунисты. Остановка такого автомобиля ночью у частнаго дома всегда означала чей-нибудь арестъ. Подъѣхавшій автомобиль высадилъ двухъ агентовъ Гороховой 2 и двухъ вооруженныхъ солдатъ.

— За мной... — прошептала Вероника.

Сонечка въ тоскѣ заметалась.

— Не будите брата... пусть спитъ. Разбудимъ въ последнюю минуту, — сказала Вероника, съ тоской сжимая похолодѣвшіе пальцы.

Бѣжали минуты, безконечныя, какъ вѣчность. Сонечка, съ трудомъ переводя духъ отъ безумно бьющагося сердца, проникнутая страхомъ, почему-то крадучись, прошла въ переднюю и стала у дверей.

— Когда постучать, откройте сразу, — обозвала ее Вероника. — Не къ чему тянуть: все равно это неминуемо. Минуты проходили, но кругомъ было тихо.

— Вѣроятно, они пошли на другую лѣстницу. Спускаюсь

во дворъ и узнаю. — Сонечка безшумно открыла дверь и вышла.

Вероника осталась стоять у окна. Страшная тоска поднялась со дна души. На фонѣ мутновато-бѣлой ночи вставали одна за другой картины только что пережитаго, ненужнаго, темнаго; арестъ на станціи Грузино... обыски... грубые агенты... голая комната въ особомъ отдѣлѣ... голодовка... тюрьма... вереница тусклыхъ дней, пронизанныхъ вздохами окружающихъ...

— Неужели опять мнѣ суждено погрузиться въ эту мутную безпресвѣтлую волну? — спрашивала себя Вероника. — Что будетъ тогда со мной? Состарѣюсь... потеряю всѣ краски моей радости... отцвѣту... — И все же въ эти самыя минуты тоскливаго ожиданія, опять въ подсознаніи скользнулъ лучъ надежды, что ее минуетъ эта участь, что впереди ее ждетъ нѣчто иное, большое, свѣтлое...

Безшумнымъ быстрымъ шагомъ вошла Сонечка:

— Обыскъ у Хвощинскихъ. У воротъ стоятъ агенты. Вѣроятно, прійдутъ и къ намъ.

— Пусть приходятъ, — пожала плечами Вероника. — У меня больше нечего брать. Запрячьте только подальше коробочку со спасенными изъ тюрьмы деньгами.

Бѣлая ночь тускло надвигалась. Вероника продолжала сидѣть у окна. Сонечка то и дѣло подходила къ дверямъ, прислушивалась и крестилась.

— Сонечка, — обозвала ее Вероника, — я устала и ложусь спать. Пусть приходятъ, — не стоитъ себя безпокоить.

Никогда не обманывавшей ее интуиціей, Вероника не предвидѣла для себя ничего угрожающаго. Она раздѣлась и улеглась въ большомъ залѣ, обращенномъ ею въ спальню, кабинетъ и пріемную. За высокими шолковыми ширмами помѣщалась кровать. Не смотря на всѣ превратности судьбы, сонъ ея оставался крѣпкимъ, и она тотчасъ заснула.

Было совсѣмъ поздно. Молчаливая, уныло-блѣсватая ночь окутывала тревожно-насторожившійся сонъ печальнаго города. Сонечка нервно прислушивалась къ малѣйшему звуку. Сонъ бѣжалъ отъ ея глазъ. Неожиданно среди чуткой тишины раздался настойчивый стукъ въ дверь съ парадной лѣстницы. Она мгновенно сорвалась съ постели.

— Обыскъ!... Неужели опять ее арестуютъ?! Господи, благослови и защити!... — шептала Сонечка поблѣднѣвшими губами, крестясь и въ смятеніи не находя истоптанныхъ самодѣльныхъ ночныхъ туфель. Стукъ въ дверь настойчивыми ударами оглушалъ сердце. Она подбѣжала къ ширмамъ, застав-

лявшимъ кровать Вероники, намѣреваясь ее разбудить, но, услышавъ съ ровное дыханіе, передумала и пробѣжала въ переднюю.

— Кто стучить? — срывающимся голосомъ спросила она.

— Откройте... у насъ несчастіе... — раздался изъ-за двери еще болѣе срывающійся голосъ пріятельницы Вероники — Прерадовичъ, жившій съ мужемъ въ этомъ же особнякѣ этажемъ выше. Сонечка съ трудомъ оттолкнула массивную, тяжело осѣвную отъ сырости, дверь,

— Арестованъ Хвощинскій и мой мужъ... — съ отчаяніемъ въ глазахъ, безкровными губами произнесла Прерадовичъ, молодая, худая и стройная женщина, безпредѣльно любившая своего избалованнаго жизнью мужа.

— За что? — всплеснула руками Сонечка.

— Не знаемъ... Увели на Гороховую... въ квартирѣ Хвощинскихъ засада... Надо предупредить по телефону, чтобы къ нимъ никто не приходилъ, а то попадутся. Сонечка, вотъ номера: предупредите. Я не въ силахъ...

Прерадовичъ, шатаясь, прошла въ залъ, гдѣ спала Вероника. Едва она дотронулась до ея руки, какъ та подняла голову съ подушки:

— Что случилось?! Александра Петровна, что съ вами?

— Родя... Родя арестованъ... увели на Гороховую... — съ безпредѣльнымъ отчаяніемъ сжимая на груди конвульсивно сплетенные пальцы, воскликнула Прерадовичъ и, упавъ ничкомъ на постель Вероники, беззвучно зарыдала, вздрагивая плечами.

Бѣлая, мутная ночь глядѣла въ окна домовъ мертваго города и чудилось, будто неподвижные, безучастно-холодные глаза мертвеца заглядывали въ громадную, какъ саваномъ покрытую бѣлыми чехлами, комнату, гдѣ надрывалось скорбью и заливалось незаслуженными слезами отчаянія сердце любящей женщины.

На утро Вероника рѣшила бѣжать вмѣстѣ съ братомъ изъ Петрограда, гдѣ каждый день грозилъ новымъ арестомъ, гдѣ жизнь каждаго обывателя обратилась въ существованіе голоднаго, запертаго въ клетку звѣря.

XIV

Былъ жаркій день. Улицы Москвы потеряли свой обычный оживленный видъ, благодаря заколоченнымъ досками магазинамъ, націонализированнымъ и расхищеннымъ. На всемъ городѣ лежалъ отпечатокъ какой-то нищенской неопрятности. Вмѣсто обычныхъ извозчичьихъ и собственныхъ рысаковъ, ко-

торыми щеголяла московская знать и купечество, по немецким неполитым знойным бульварам тащились какія-то телѣги съ отошавшими клячами, понуро шагали въ изношенныхъ одеждахъ; съ тусклыми, будто тоже изношенными, лицами, люди голодные, безнадежно усталые, покорившіеся придавившей ихъ, путемъ жестокаго террора, желѣзной лапѣ большевизма.

Уныло глядѣлъ древній, торжественно-прекрасный кремль, обратившійся въ настоящую крѣпость, за которой крѣпко засѣли вожди коммунизма. Безмолствовали вѣковые храмы со своими поруганными святынями. темень, строгъ и полонъ скорби былъ ликъ Богоматери у Иверскихъ воротъ...

Въ зданіи Большого театра, въ самомъ заднемъ дворѣ, неопрятномъ, съ кучами сваленнаго мусора и всякаго лома, за облупившейся стѣной, высоко выдвигавшейся и образовавшей закутокъ, была покривившаяся тяжелая деревянная дверь на ржавыхъ желѣзныхъ петляхъ. Три шаткихъ ступени внизъ вели въ темный каменный корридорчикъ съ тяжелымъ запахомъ сырости и отхожихъ мѣсть. Корридорчикъ сворачивалъ въ уголь и оканчивался въ темнотѣ низкой дверцей.

Изнемогая отъ жары, съ корзинкой на отекающей рукѣ, съ лицомъ пожелтѣвшимъ отъ безсонной ночи въ накуреномъ, переполненномъ красноармейцами, вагонѣ, ослабѣвшая отъ длиннаго пути пѣшкомъ съ вокзала, съ тяжелой корзиной на рукѣ, въ эту дверцу постучала Анна Федоровна Рязанцева. Въ старенькой черной юбкѣ и такой же блузкѣ, въ соломенной, сильно поношенной, черной шляпѣ, разбитая трудными условіями путешествія, она казалась сильно постарѣвшей и похудѣвшей.

На ея стукъ немедленно отодвинулась задвижка, и дверь раскрылась. На порогѣ стоялъ баронъ Николай Федоровичъ Гельмъ.

— Анэточка!.. — Онъ бросился къ сестрѣ, охватилъ ея плечи, прижался головой къ ея плечу и вдругъ разрыдался тяжелыми истеричными слезами.

— Коля, голубчикъ, милый, дорогой, успокойся... вотъ видишь... вотъ я и пріѣхала... могу пробыть у тебя цѣлую недѣлю... — сиюсь удержатъ непослушныя слезы, уже струившіяся по блѣдному худощавому лицу, говорила Рязанцева, глядя вздрагивавшую отъ рыданій на ея плечѣ голову брата.

— А мама... бѣдная мама какъ-же тамъ одна осталась?.. — вытирая платкомъ заплаканное мокрое лицо, едва сдерживая дрожавшія искривленной гримасой губы, спрашивалъ баронъ Гельмъ, беря поставленную на полу корзину и продолжая другой рукой обнимать сестру.

— Гдѣ же ты живешь, голубчикъ?

— Здѣсь же и живу въ этой проклятой кухнѣ, чтобы имъ всѣмъ на ключья разорваться!..

Баронъ перешагнулъ порогъ и ввелъ сестру въ узкую, продолговатую кухню съ закопѣлыми, давно небѣлеными стѣнами и потолкомъ, облупившимися, съ плитами высохшей сырости. Большая плита и большой деревянный столъ, заставленные горшками, ящиками и тарелками, занимали часть кухни подлѣ дверей; за ситцевой чистой занавѣской стояла узкая желѣзная койка и подлѣ — кожаный чемоданъ. У самой занавѣски было низкое, распахнутое надъ крышей погребѣ, окно: подлѣ него небольшой столъ и два кухонныхъ табурета. На стѣнѣ противъ койки было прибито маленькое зеркало и полочка съ необходимыми принадлежностями туалета. Противъ плиты на двухъ широкихъ стѣнныхъ полкахъ стояла старая кухонная утварь. Подъ большимъ кухоннымъ столомъ видно было ведро, миска съ намоченнымъ бѣльемъ и было брошено нѣсколько толстыхъ полѣненьвъ. Плита топилась, и въ кухнѣ было невыносимо жарко въ этотъ жаркій день, заливавшій маленькую комнату лучами горячаго солнца и отраженіемъ ихъ отъ желѣзной крыши погребѣ.

— Бѣдный Коля... вотъ гдѣ ты живешь!.. — Рязанцева грустнымъ взглядомъ обвела убогую кухню и остановила его на братѣ.

— Что же дѣлать, Анэточка! Эти „сэволочи“ сдѣлали изъ меня повара. — Нервно капризная линія одной брови изогнулась и приподнялась выше, уголь рта слегка покривился отъ гримасы желчной обиды. — И еще я долженъ судьбѣ быть благодаренъ, такъ какъ вмѣсто тюремной камеры имѣю этотъ свой уголь и пользуюсь свободой выходить на улицу, чтобы покупать продукты на базарѣ этимъ гнилымъ чертямъ! О, какъ я ихъ ненавижу, Анэточка, за то, что они все разрушили, все загадили, пустили всю Россію по міру, залили ее всю кровью, и все имъ еще мало...

Въ глазахъ барона блеснулъ огонекъ бѣшеной злобы. Рязанцева, съ глубокой болью въ сердцѣ, смотрѣла на любимого брата, уже полгода вырваннаго изъ семьи и отправленнаго на заключеніе въ Московскую тюрьму. Онъ стоялъ передъ ней въ черныхъ, заплатанныхъ на колѣняхъ, панталонахъ, въ старенькой запятнанной рубашкѣ съ засученными выше локтя рукавами и разстегнутымъ воротомъ, обнажавшимъ часть груди. Растрепавшіеся черные волосы съ одной стороны падали на лобъ. Лицо было блѣдно и устало, часто подергивалось нервной гримасой вздрагивавшихъ губъ и брови.

— Коля, Коля, какъ все измѣнилось, какъ стало дико непохоже на нашу прежнюю хорошую, красивую жизнь!.. Ты поваръ для рабочихъ!! Для чего эта ерунда?!

— А ну ихъ къ черту! Давай попробуемъ забыть ихъ. Я чувствовалъ, что ты приѣдешь на этихъ дняхъ и приготовилъ кое чего, чтобы подкормить тебя. Сдѣлали изъ меня повара, такъ ужъ я съ провизіей ихъ не стѣсняюсь. Анѣточка, вѣдь вы съ мамой голодаете? Какъ можете вы тамъ одинъ справиться?! Это меня тутъ съ ума сводить... Я все-таки сытъ и мнѣ тепло въ этой гнусной кухнѣ, а вы бѣдные...— баронъ схватится за голову.

— Полно, Коля. Намъ съ мамой не такъ ужъ худо, — отводя въ сторону взглядъ, солгала Рязанцева. — Весна была ранняя, мы давно открыли комнаты, успѣли обогрѣться. Маминъ ревматизмъ лучше.

— Теперь я тебя хорошо покормлю. Садись, отдыхай.

— Мнѣ бы сперва помыться, Коля. Вѣдь я ѣхала двое сутокъ... Грязь, мерзость въ ихъ вагонахъ, руготня, толчея... ни на секунду нельзя было прилечь... стапчили коробку съ картошкой жареной, что мама мнѣ на дорогу дала... прямо адъ!

— Мойся у раковины, Анѣта, мнѣ много умывальника не полагается; я не буду смотрѣть на тебя, спиной повернусь. Спать ты будешь на моей роскошной кровати, а я достала себѣ сѣнникъ и буду спать за занавѣской на полу. Какое счастье, что тебѣ удалось вырваться! Я точно оживъ. Пахнуло домомъ, семей...

— Возьми въ корзинкѣ сверху письмо отъ мамы. Я привезла тебѣ, Коля, твои синіе панталоны и курточку.

— Ты съ ума сошла! Да вѣдь я писалъ же вамъ, что бы вы продали и купили бы себѣ муки...

— А ты зимой будешь голый ходить?!

— Куда мнѣ ходить? Вся моя жизнь въ этой кухнѣ; тутъ тепло, и съ меня достаточно этой старой пары.

— Молчи, Колька. Все равно, ни за что ни мама, ни я не согласны,—говорила Рязанцева, съ удовольствіемъ подставляя подъ холодную струю крана разгоряченную шею, лицо и руки, въ то время какъ баронъ, повернувшись къ ней спиной, возился у плиты, приготовляя ей обѣдъ и кофе.

— А что въ Петроградѣ дѣлается? Вымираютъ?

— Хуже, чѣмъ зимой. Просто мертвечиной отъ него несетъ.

— По прежнему валяется лошадиная падалъ по неделямъ?

— Никакой больше падали нѣтъ. Одни мы остались...

Рязанцева, освѣженная холодной водой, аккуратно причесанная, въ чистой бѣлой блузкѣ, сразу похорошѣла и помолодѣла. Она сѣла къ столу у окна.

— Боже мой, какое количество мух! — воскликнула она, смахивая со стола и со стѣнъ зажужжавшую тучу.

— Это благодаря близости сорной ямы. Прежде жили окнами на набережную, теперь живемъ окнами на помойныя ямы. На то и бароны. Что жъ, у всякаго барона своя фантазія... *tel est mon bon plaisir*... — язвительно подсмѣивался Гельмъ надъ своимъ несчастіемъ.

Когда онъ уставилъ столъ тарелками съ супомъ, пирогомъ съ грибами и котлетками, Рязанцева ахнула отъ неожиданности.

— Да, да, ты пожалуйста не удивляйся, Анэточка. Такъ кушаютъ господа коммунисты ежедневно, а зачастую устраиваютъ вечера, на которые просятъ меня приготовить имъ мороженное, зажарить окорокъ телятины, спечь пирожки съ мясомъ, заохолодить шампанское... все это господа коммунисты очень любятъ и живутъ точно такъ же, какъ раньше жили мы, и абсолютно плюютъ на то, что вся Россія распухла отъ голода и скоро станетъ сама себя пожирать. Это будетъ, ручаюсь головой, что будетъ, но идейные вожаки ни на югу не сдвинулись съ мѣста и будутъ тогда, какъ и сейчасъ, беззаботно заливать голодь и каннибальство кровью, а свою глотку шампанскимъ... Какую же кару готовятъ этимъ „сэволючамъ“ небеса?

— Брось, Коля... не стоитъ, не поможетъ.

Когда баронъ подаль кофе и собственнаго издѣлія крендельки, Анна Федоровна вдругъ разразилась смѣхомъ:

— Коля, ты знаешь на что это похоже? Будто я кума, пришедшая въ былыя времена въ гости къ господскому повару, припрятавшему отъ барскаго стола лучшіе куски.

Рязанцева помогла брату вымыть посуду, подмела полъ, все привела въ порядокъ, достала изъ корзинки работу — починку бѣлья и сѣла къ столу. Баронъ умылся, переодѣлъ рубашку, опоясавъ ее оставшимся отъ счастливыхъ временъ широкимъ шелковымъ кушакомъ и, набивъ трубку махоркой, сѣлъ подлѣ сестры.

— Анэта, есть одинъ безумно мучащій меня вопросъ. Изъ-за него я всѣ эти дни хожу, какъ въ туманѣ, и совсѣмъ потерялъ сонъ.

Рязанцева поблѣднѣла и опустила на колѣни работу:

— Тебя ссылаютъ куда-нибудь?... Коленька... — у нея сорвался голосъ, и въ глазахъ появилось выраженіе мучительной тревоги.

— На прошлой недѣлѣ мнѣ объявили, что, такъ какъ я финляндскій подданный, то по новому соглашенію съ Финляндіей, меня туда переправятъ.

— Да что ты, Коля?! Какое счастье! — Рязанцева вся просіяла.

— Для меня это одинъ ужасъ. Какъ я смогу жить тамъ, зная, что ты съ мамой остались однѣ въ этомъ кровавомъ аду. Я сойду тамъ съ ума отъ тоски и страха.

— Постой, Коля. Я вижу совсѣмъ иное. Ты спокойно препроводишься въ Финляндію и оттуда вытащишь насъ. Мама финляндская подданная, а я значусь разведенной еще до смерти мужа. Я тутъ затеряю документы и такимъ образомъ твоей отъѣздъ спасетъ и насъ.

— Я уже думалъ объ этомъ, но мысль оставить васъ однѣхъ меня такъ пугаетъ, что я теряю голову.

— Коля, да развѣ мы теперь вмѣстѣ? Развѣ твое заключеніе здѣсь въ этой гнусной кухнѣ можетъ дать тебѣ возможность помочь, случись съ нами что-нибудь? Мама невыразимо страдаетъ за тебя; твое освобожденіе въ Финляндію придастъ ей бодрость и надежду. Обратишься тамъ сейчасъ же къ властямъ и вытянешь насъ, а мы, имѣя эту надежду, будемъ терпѣливѣе переносить тяжесть жизни. Нѣтъ, Коля, не печалиться, а радоваться ты долженъ. Господь услышалъ мамины и мои за тебя молитвы. Теперь я чувствую, что мы доживемъ до счастливыхъ дней освобожденія отъ этого кроваваго кошмара. Подумай, Коля: мы, — всегда такъ любившіе Россію, теперь мечтаемъ, какъ о высшемъ счастьи, о возможности бѣжать изъ нея, покинуть все, что было, еще такъ недавно, дорого сердцу.

— Да, и какой ужасъ, что тѣ, кто ненавидитъ нашу несчастную Россію, кто сознательно погубилъ ее и продолжаетъ наносить ей смертельные удары, тѣ крѣпко засѣли въ ней, пока Россія не обратится въ трупъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда Рязанцевой къ брату, барону было официально объявлено о его высылкѣ въ Финляндію черезъ три недѣли. Ни о чемъ больше, кромѣ какъ о проѣктахъ близкаго спасенія, Рязанцева и баронъ говорить не могли. Отъѣздъ ея обратно въ Петроградъ не опечалилъ ихъ, такъ какъ черезъ три недѣли баронъ, по дорогѣ въ Финляндію, выговорилъ себѣ право остановиться на двое сутокъ у матери.

Когда Рязанцева сѣла въ вагонъ и, прощаясь, обнимала брата, ея лицо посвятившее отъ недѣльнаго отдыха и хорошаго питанія, озарялось улыбкой.

— До скораго свиданія, мой дорогой. Теперь мы съ мамой ждемъ тебя, а скоро ты будешь ждать насъ для тихой, спокойной жизни.

XV

Прошло четыре мѣсяца. Въ маленькой комнатѣ, выходявшей двумя окнами во дворъ, царилъ сильный беспорядокъ. На полу, на единственномъ столѣ и на простой желѣзной кровати, покрытой сѣянникомъ, были разбросаны вещи, которыя съ лихорадочной поспѣшностью увязывала Вероника съ помощью брата и квартирной хозяйки, тихой и доброжелательной еврейки съ добрыми запуганными глазами и миловиднымъ, отцвѣтѣвшимъ лицомъ. Дверь въ комнату то и дѣло пріоткрывалась, и въ нее просовывалась голова хозяина, тоже тихаго и доброжелательнаго еврея:

— Прошу васъ, поторопитесь. Уже темнѣетъ. Сейчасъ пріѣдетъ воицкъ съ телѣжкой. Нельзя будетъ у подѣзда долго задерживаться: того и гляди милиціонеры замѣтятъ, — съ замѣтнымъ безпокойствомъ говорилъ онъ.

— Сейчасъ все будетъ готово, — въ изнеможеніи переводя духъ, стоя на колѣняхъ передъ раскрытымъ чемоданомъ, куда съ трудомъ втискивались послѣднія вещи, отвѣчала Вероника. Глаза ея лихорадочно блестѣли, на щекахъ горѣли два алыхъ пятна, — признакъ бессонной ночи и сильно взвинченныхъ нервовъ.

— Вотъ зонтики. Ихъ куда положить? — Спрашивала хозяйка.

— Богъ съ ними; некуда ихъ брать.

— Такіе хорошіе! Совсѣмъ цѣлые, шелковые, — хозяйка сокрушенно качала головой.

— У насъ и безъ того слишкомъ много вещей. Но я чувствую, что Господь поможетъ, и на этотъ разъ мы не попадемся, — улыбнулась Вероника, взглянувъ на брата, покраснѣвшаго отъ натуги: упершись колѣномъ въ крышку, онъ изо всѣхъ силъ стягивалъ ремень на небольшой ручной корзинкѣ.

— Я тоже спокоенъ, — отозвался онъ.

— Пришли за вещами! — Въ комнату поспѣшно вошла юная миленькая блондинка, дочь хозяевъ, съ нѣжнымъ цвѣтомъ лица, очень привязавшаяся къ художницѣ за время ея пребыванія въ ихъ квартирѣ. — Просятъ скорѣе давать вещи. Я помогу вамъ.

Началась обычная передъ дальнимъ отъѣздомъ суета. Вещи сносили на телѣжкѣ два юркихъ еврея, изъ которыхъ одинъ былъ сѣдой старикъ.

Сумерки быстро надвигались. Послѣ сердечныхъ пожеланій благополучнаго пути и благодарныхъ словъ Вероники за заботу и помощь въ дѣлѣ устройства побѣга, послѣ

долгихъ хлопотъ, наконецъ, тронулись въ опасный путь по темнѣющимъ улицамъ печальнаго города Минска, недавно пережившаго приходъ поляковъ, ихъ отступленіе и неожиданное появленіе большевиковъ, не смотря на признаніе независимости Бѣлоруссіи. Вероника, послѣ бѣгства изъ Петрограда, пробралась съ братомъ въ Минскъ, гдѣ, проживъ нѣкоторое время въ только что покинутой еврейской семьѣ, она съ ихъ помощью наладила свой вторичный побѣгъ. Не смотря на всю очевидность риска, она безъ колебаній бросила этотъ опасный жребій. Россія дошла до крайнихъ предѣловъ паденія, разложенія и разоренія; культурному человѣку жить въ этой кошмарной обстановкѣ было невыносимо, и каждый, кто не боялся смотрѣть смерти въ глаза, рисковалъ бѣгствомъ за границу.

Пошелъ снѣгъ. Совсѣмъ стемнѣло. Телѣжку съ вещами оба еврея торопливо катили по отдаленнымъ улицамъ города, направляясь за его черту. Вероника и Андрюша слѣдовали на нѣкоторомъ разстояніи.

Подойдя къ чертѣ города, долго ждали за стѣной какого то громаднаго пустого склада возвращенія одного изъ ушедшихъ за чѣмъ-то евреевъ. Наконецъ, онъ вернулся. Предстояло пройти опасное передъ патрулями мѣсто, а потому надо было идти въ полной тишинѣ и какъ можно скорѣе. Въ темнотѣ откуда-то вынырнуло нѣсколько еврейчиковъ. Они подхватили телѣжку и быстро покатали ее. Дорога была вся въ ухабахъ. Ноги скользили по свѣже выпавшему снѣгу. Въ темнотѣ терялось, едва замѣтное для глаза, пятно движущейся впереди группы. Поспѣвшимъ шагомъ шли верстъ пять. Казалось, что конца не будетъ этому напряженному, торопливому путешествію въ сгустившейся темнотѣ подъ непрерывно падавшей прозрачной, легкой пеленой снѣжныхъ пушинокъ. Андрюша, держа подъ руку, помогалъ сестрѣ идти по скользкой неровной дорогѣ среди пустого пространства полей. Онъ сильно волновался, когда слишкомъ отставали.

Наконецъ, подошли къ какому-то двору, гдѣ сейчасъ же были таинственно заперты ворота. Часа два ждали то въ темномъ дворѣ, то въ душной избѣ, все наполнявшейся новыми людьми. На столѣ горѣла маленькая керосиновая лампочка. Всѣ оконца были плотно закрыты ставнями. Прибывали мужчины, женщины въ платкахъ и въ шляпкахъ. Были дѣти. Всѣ недовѣрчиво, боязливо оглядывались и шептались.

Явился еврей подводчикъ, съ которымъ уговаривались относительно переправы черезъ границу, — громадный, сильный человѣкъ, и сказалъ, что можно трогаться. Дворъ оказался полонъ подводъ. Въ темнотѣ и тишинѣ карабкались на высокія подводы, усаживались, умащивали вещи. Сидѣтъ на

вещахъ было неудобно. Безшумно раскрылись ворота, и подводы, цѣпляясь оглоблями и колесами, стали выѣзжать на шоссе. За воротами оказалась длинная вереница такихъ же, переполненныхъ людьми и вещами, ожидавшихъ телѣгъ. Тронулись шагомъ. Шель снѣгъ, и было очень темно. Вероника перекрестилась и отогнала, невольно встававшія въ воображеніи, картины предшествовавшей трагической попытки перѣбѣжать границу.

Ѣхали окольными путями то черезъ деревушки, то густымъ лѣсомъ, гдѣ вѣтви сосенъ и елокъ били по лицу и цѣплялись за шляпу, осыпая снѣгомъ. Въ лѣсу все время угрожала опасность нападенія „Зеленыхъ“, грабящихъ проезжающихъ, какъ единственное средство для существованія.

Ѣхавшій впереди проводникъ каждый разъ, какъ подѣзжали къ опаснымъ мѣстамъ, передавалъ, чтобы соблюдали абсолютную тишину.

Ѣхали цѣлую ночь въ темнотѣ и напряженной тишинѣ. Было семь часовъ утра, когда отъ одной подводы къ другой передали, что опасность миновала. Всѣ начали креститься, громко заговорили, слышался смѣхъ и шутки. Подводы въѣхали въ мѣстечко Раданковичи, гдѣ стояли поляки.

— Россія, милая, несчастная замутившаяся Россія выкрикивающая, какъ кликуша, безконечныя агитаціонныя рѣчи. — осталась позади. Я ее бросила... тайно бѣжала, — думала Вероника.

На душѣ у нея не было ни злобы, ни обиды, ни даже раздраженія за все перенесенное. Во всемъ, постигшемъ Россію, она чувствовала общую вину.

Въѣхали на постоялый дворъ, гдѣ, поверхъ подтаявшего слоя грязи, лежалъ бѣлыми пятнами свѣже выпавшій снѣгъ. Уже сѣрѣло утро. Было зябко и въ головѣ пусто отъ бессонно проведенной ночи. Нервы были сильно взвинчены отъ длительного напряженія во время всего пути и отъ сознанія, что, наконецъ, свершилось нѣчто громадное, что еще наканунѣ казалось невыполнимымъ счастіемъ: освобожденіе отъ безумія большевизма.

Люди, сошедшіе съ подводъ, какъ тѣни сновали въ полусвѣтѣ съ огарками въ рукахъ по двумъ большимъ бревенчатымъ комнатамъ постоялаго двора, радостно втаскивали вещи, громко переговаривались, считали деньги. Въ грязноватой комнатѣ, набитой прѣзжими, на деревянномъ столѣ кипѣлъ большой нечищенный самоваръ. Въ бутылкѣ горѣла свѣча. У всѣхъ на душѣ было хорошо. Не вѣрилось, что конченъ терроръ, кончена вся муть и грязь арестовъ, засадъ, разстрѣловъ, дикаго произвола и грабежа.

Въ дефензивѣ поляки не сразу повѣрили Вероникѣ, но среди военныхъ властей оказались люди, жившіе въ Россіи и знавшіе имя художницы. Ящикъ съ эскизами и нѣсколькими цѣнными картинами подтверждалъ личность художницы, и пропускъ былъ данъ.

Подкрѣпившись чаемъ съ хлѣбомъ, засвѣтло поѣхали дальше черезъ село „Красное“ въ Молодечно. Панъ Станиславъ — красивый полякъ изъ дефензивы, недовѣрчиво отнесшійся къ личности художницы, предложилъ ей свою подводку, чтобы ѣхать вмѣстѣ. Онъ заявилъ, что у него отпускъ, и что ему будетъ очень пріятно сопровождать до Вильно. Вскорѣ Вероника поняла, что панъ Станиславъ сопровождалъ ихъ не случайно, а для тайной провѣрки.

Дорога все время шла лѣсомъ, въ которомъ орудовали „Зеленые“. Верстѣ пятнадцать ѣхали опять въ состояніи нервной напряженности. Замученная шершавая лошаденка плелась шагомъ. Погода стояла мягкая. Лишь въ десять часовъ вечера пріѣхали въ Молодечно, совершенно разбитые отъ предидущей безсонной ночи, полной волненій и отъ сквернаго пути въ тряской подводѣ подъ непрерывнымъ опасеніемъ нападенія изъ лѣсу.

Невзрачная комната съ бревенчатыми стѣнами, одинокимъ столомъ и двумя табуретами была первымъ гостепріимнымъ пріютомъ художницы на чужеземной границѣ. За крошечными оконцами, выходившими на широкую проѣзжую дорогу, покрытую снѣгомъ, было темно и тихо мирной тишиной спокойно погруженнаго въ сонъ крошечнаго мѣстечка. На деревянномъ столѣ одиноко горѣвшая свѣча тускло озаряла полуголую комнату, гдѣ на желѣзной кровати, покрытой сѣнникомъ, спалъ крѣпкимъ сномъ, утомленный долгимъ путемъ, мальчикъ. Вероника, вынувъ изъ кармана шубки маленькій серебряный образокъ Богоматери, опустила передъ нимъ на колѣни: ея сердце было переполнено радостью и благодарной молитвой.

XVI

Счастливая сознаниемъ, что, наконецъ, преодолѣвъ препятствія и перешагнувъ черезъ смертельную опасность, она очутилась въ Западной Европѣ, Вероника, полная мыслей о невѣдомой, ожидающей ее здѣсь жизни, подымалась по лѣстницѣ небольшого отеля въ Берлинѣ. Кипучая жизнь большого города съ его пестрой толпой, пестрыми, ослѣпительно яркими витринами, изобиліемъ всевозможныхъ товаровъ, шумъ уличнаго движенія, грохотъ желѣзной дороги съ мелькающими высоко надъ улицей вагонами, съ непривычки утомили ее и

въ тоже время радовали, подтверждая, что вновь она сдѣлалась частицею этой пульсирующей жизни.

Внизу на лѣстницѣ она слышала чьи-то шаги. Быстро ступая по ступенямъ и тихонько насвистывая, господинъ въ сѣроватомъ, англійскаго покроя, пальто и мягкой фетровой, такого же цвѣта, шляпѣ, нагналъ ее на поворотѣ лѣстницы и, давая дорогу, учтиво посторонился, переставъ насвистывать. Вероника не успѣла взглянуть въ его сторону, какъ онъ стремительно шагнулъ къ ней и обѣими руками схватилъ ее руку, лежавшую на перилахъ:

— Вероника Антоновна?!.. Неужели я не брежу?..

Передъ ней стоялъ князь Олегъ Суровъ.

Отъ неожиданности она отшатнулась, но въ ту же минуту узнала его и мгновенно почувствовала приливъ радости.

— Олегъ Владиміровичъ!.. Какъ я рада...

— Вы рады... А я счастливъ!.. Когда вы пріѣхали? Какъ? Откуда? — посыпались вопросы. Князь Олегъ крѣпко сжималъ руку Вероники и смотрѣлъ въ ея лицо счастливыми радостными глазами. Въ этомъ взглядѣ она прочла, что время и событія не измѣнили его чувствъ.

Суровъ жилъ въ томъ же отелѣ этажомъ выше. Лишь мѣсяцъ тому назадъ онъ пріѣхалъ изъ Константинополя, куда изъ Крыма была эвакуирована въ ноябрѣ армія Врангеля, въ которой онъ, послѣ паденія Деникина, боролся противъ большевиковъ.

Вечеромъ онъ постучалъ въ комнату Вероники. Она ожидала его.

— Вы похудѣли, но советѣмъ мало измѣнились, — говорилъ Суровъ, вглядываясь въ черты любимаго имъ лица. — Гляжу на васъ и не вѣрю, что мы опять свидѣлись. Вѣдь почти два года пролетѣло, а сколько пережилось!

Спустились внизъ. Суровъ, блестя глазами изъ-подъ мягкихъ полей шляпы, былъ неизмѣримо счастливъ ея близостью. У Вероники же мелькала мысль, что, можетъ быть, доля ея радости происходитъ отъ того, что она встрѣтила его въ первые дни пріѣзда, въ чужомъ городѣ, среди чужихъ людей.

На улицѣ было свѣтло. Ярко горѣли фонари, ударяя свѣтовыми бликами въ лица прохожихъ. Мелькали старыя и молодыя женскія лица въ вычурныхъ шляпкахъ, съ вызывающимъ взглядомъ подведенныхъ глазъ подъ дымкой вуалетки, мелькали улыбки подкрашенныхъ пурпуромъ губъ. Какъ отполированная сталь блестѣла подъ электричествомъ асфальтовая мостовая, по которой, скользя упругими шинами, сновали взадъ и впередъ глянцевитые лакированные автомобили. Стройныя темно-четкія острые башенки Gedächtnis-

kirche тянулись къ небесамъ вслѣдъ торжественному молитвенному стражу — острому, кончающемуся легкимъ шпирцемъ, главному куполу.

У Вероники нервы взвинчивались.

Вошли въ большой нарядный баръ, гдѣ было много свѣта, игралъ оркестръ, и всѣ столики были заняты публикой. Съ трудомъ отыскивали свободное мѣсто.

— Гдѣ вашъ братъ? — спросила Вероника.

Сергѣй сейчасъ въ Парижѣ. Я видѣлся съ нимъ въ Константинополѣ, куда онъ пріѣзжалъ на короткій срокъ.

— Расскажите мнѣ о немъ.

По лицу Олега скользнула тѣнь. Онъ пристально посмотрѣлъ въ лицо Вероники, хотѣлъ что-то сказать, запнулся и умолкъ.

— Что съ вами?

— Могу я задать вамъ одинъ вопросъ? Вы не разсердитесь?

— О, нѣтъ.

— Отчего, когда вы говорите о Сергѣѣ, у васъ что-то мелькаетъ въ глазахъ? Вы... любите его?

— Теперь, вѣроятно, нѣтъ.

— Вы его любили?

— Да.

Олегъ слегка поблѣднѣлъ.

— Не волнуйтесь. — Вероника дотронулась до руки Олега. — Я его любила безъ взаимности.

— Слава Богу! — Олегъ облегченно вздохнулъ. — Этотъ вопросъ меня несказанно мучилъ.

— Сергѣй Владиміровичъ по прежнему увлекается политикой?

— Еще больше. Внѣ политики его ничто не интересуетъ, и, не смотря на непроницаемую туманность положеній, онъ ухитряется видѣть какіе-то политическіе горизонты и отыскиваетъ концы запутанныхъ политическихъ клубковъ. Онъ очень много занятъ дѣлами, отъ которыхъ толку все-таки для всѣхъ насъ мало. Въ Совдѣніи дѣлаютъ деньги для политики, а тутъ — политику для денегъ. Не хотятъ понять, что вражда партій не только ослабляетъ общее русское дѣло, но постепенно стираетъ обликъ съ эмигрирующей здѣсь Россіи и можетъ, въ концѣ концовъ, совершенно сдѣлать ее чуждой для Россіи, оставшейся тамъ.

— А гдѣ ваша мать?

— Съ восемнадцатаго года бѣдная мама застряла въ Одессѣ, которая пережила за эти два года много передрагъ. Я боюсь, что не свижусь больше съ мамой. — Олегъ подавилъ тяжелый вздохъ.

— Не слыхали ли вы что-нибудь о Михайловском? — спросила Вероника, чтобы отвлечь князя от грустных мыслей.

— Онъ былъ у Деникина и у Врангеля. Я видѣлъ его тамъ у Глинкова.

— Глинковъ живъ! Какъ я рада. Это такой душевный и умный человѣкъ. Гдѣ онъ теперь?

— Въ Константинополѣ. Тамъ же и Михайловскій. А жена его, я слышалъ, осталась съ ребенкомъ въ Петроградѣ?

— Оба умерли въ тюрьмѣ.

— Бѣдный Михайловскій этого не знаетъ. Да впрочемъ, кто и что теперь знаетъ? Все перепуталось, всѣ мы растерялись, никто не знаетъ, кто живъ, кто погибъ. Вы бы поглядѣли, что дѣлается теперь съ арміей Врангеля! Погибаютъ отъ голода, полная безработица. Офицеры подметають улицы, берутъ навозъ, прислуживаютъ въ ресторанахъ, по нѣсколько сутокъ безъ ѣды сидятъ.

— Въ Варшавѣ въ лагеряхъ томятся офицеры и солдаты Деникинской арміи. Тоже голодаютъ, холодаютъ, терпятъ униженія. Тяжелый крестъ выпалъ на ихъ долю.

— Да, вездѣ тоже, — тяжело вздохнулъ Олегъ. — Эмиграція повсюду страдаетъ ужасно. Работы нѣтъ, вещей нѣтъ. Все, что вы сами пережили и все, что рассказывали мнѣ о положеніи оставшихся въ Россіи, конечно, ужасно, но не менѣе ужасна и жизнь нашей эмиграціи здѣсь. Одни страдаютъ и погибаютъ на развалинахъ своей Родины, другіе — въ чужой странѣ. И одинъ крестъ тяжелъ и другой. Тамъ — терроръ и голодъ, здѣсь — холодъ чужбины и тотъ же голодъ. Бѣгутъ сюда черезъ границу съ рискомъ разстрѣла, приходятъ нищими, ожидаютъ отдыха, а вмѣсто этого судьба подноситъ чашу испытаній: жизнь отщепенцевъ въ большихъ сытыхъ городахъ. Россія обливается кровью и слезами страданій; здѣсь — обливаются русскіе люди слезами тоски, униженного самолюбія и отчаянія отъ безнадежнаго ожиданія вратъ на Родину.

Вероника и князь Олегъ не слышали звуковъ оркестра, не видѣли окружавшей ихъ толпы. Ихъ мысли были далеко, неслись къ покинутой, разоренной Россіи, обливаемой кровью террора и междоусобной войны.

— Нослѣ вашей поѣздки на фронтъ вы Брусилова не видѣли больше? — спросилъ Олегъ.

— Нѣтъ.

— Генераль Брусиловъ — вождь красной арміи. Какъ это ужасно звучитъ! — съ горечью произнесъ Олегъ.

— О Брусиловѣ говорить я боюсь. Мнѣ страшно произнести, быть можетъ, ошибочный приговоръ надъ его стар-

ческой головой. Я не могу забыть его словъ въ Могилевѣ, произнесенныхъ съ глубокимъ волненіемъ: — „Господь возложилъ на меня спасти Россію, и я спасу ее, чего бы мнѣ это ни стоило!“.. Брусиловъ глубоко вѣрующій человѣкъ, и я не хочу допустить мысли, чтобы онъ измѣнилъ своей вѣрѣ и своей Родинѣ.

— Однако факты говорятъ противъ.

— Его сердца мы не знаемъ. Навѣрное знаю, что смерти Брусиловъ никогда не боялся.

— Что говорятъ въ Россіи о Царской семьѣ? Вѣрять, что онъ убитъ? — спросилъ Олегъ послѣ минутнаго молчанія.

— Нѣкоторые вѣрять, что ихъ спасли.

— Я не вѣрю этому чуду. Русскій народъ несетъ справедливую кару за упадокъ вѣры и гнусное убійство своего Царя.

— Положимъ, убивалъ не народъ, а кучка темныхъ людей.

— Все равно. Народъ допустилъ, чтобы Царя затравили, какъ звѣря и убили со всей семьей въ далекой глуши... Позорная, гнусная и преступная для русской исторіи страница. — Глаза князя Олега потемнѣли отъ гнѣва, и поперечная складка сдвинула брови. — Не разъ я слышалъ сужденія о томъ, что никакой разницы нѣтъ убить ли Петра, Ивана или Царя-Помазанника; что если убили, то значить такъ и надо. Такъ говорятъ люди, которымъ не дана утопченная способность проникать въ сущность установленныхъ вѣками законовъ Высшаго велѣнія. Они признаютъ и понимаютъ передачу расы лошадей изъ поколѣнія въ поколѣніе, но такую же передачу власти, освященную вѣками, они понять не могутъ. Имъ чужды законы высшаго духовнаго порядка; для нихъ религія — это учрежденіе, вѣра — слѣпота, а не откровеніе. Имъ непонятна концентрированная сила соборной молитвы или ниспосланная свыше кара за совершенное цѣлымъ народомъ преступленіе, какъ логическая послѣдовательность въ нарушеніи законовъ равновѣсія духовнаго порядка. Эти люди, называющіе себя реалистами, только односторонни и слѣпы къ цѣлому ряду совершающихся вокругъ нихъ и надъ ними событій, зависящихъ отъ законовъ нечеловѣческихъ. За эти годы сложныхъ переживаній я еще глубже постигъ, что существуетъ таинственная логика высшихъ законовъ, — сила которыхъ упадетъ всей своей неотвратимой тяжестью на головы всѣхъ тѣхъ, кто пренебрегъ ими въ страшномъ преступленіи противъ Россіи. Не надо быть пророкомъ, чтобы съ увѣренностью предсказать, что Россія возродится, когда весь народъ, пробуждаемый сознаніемъ утраченной вѣры, всколыхнется и станетъ на защиту поруганной Святыни и вѣковыхъ традицій и, полный раская-

яніемъ въ совершенныхъ преступленіяхъ, начнетъ строительство Россіи не терроромъ, а властью, освященной свыше. „Нѣтъ власти, еще не отъ Бога“, сказано въ Писаніи. Смыслъ этихъ словъ глубокъ своимъ внутреннимъ значеніемъ.

— Я рада, что вы вѣрите въ возрожденіе Россіи. Раньше вы иначе думали.

— Я остался послѣдователенъ. Братъ Сергѣй увѣрялъ, что народъ не допуститъ, что народъ очнется, а я утверждалъ, что Россія соскользнетъ въ пропасть, ибо народъ допустилъ, а всѣ мы безсильны, вѣрнѣе слабосильны, безъ порывовъ, безъ полетовъ вверхъ, нищѣ духомъ, чтобы бороться съ титаническимъ размахомъ зла, охватившимъ страну. Теперь, когда Россія дошла до крайнихъ предѣловъ паденія, теперь я вѣрю, что, мало по малу, начнетъ просыпаться сознаніе безумно-совершенныхъ дѣяній, начнется прозрѣніе, а съ нимъ и раскаяніе, т. е. обновленіе и стремленіе стряхнуть съ себя гнетъ массоваго психоза. Люди поймутъ, что кристаллически-чистой идея коммунизма была брошена на попраніе, что ее заплевали и залили братской кровью.

Князь Олегъ говорилъ горячо и увѣжденно. Было ясно, что трагическая, въ своей бесплодности, борьба за спасеніе Родины, выбросившая его за бортъ, подобно десяткамъ тысячъ людей, не ослабила его энергіи и не сломила душевныхъ силъ.

— Какую же картину вы начнете теперь писать? — помолчавъ, спросилъ Олегъ.

— Это будетъ идея возрожденія Россіи. Въ память моего любимаго дяди Петра Александровича она будетъ называться „да будетъ свѣтъ“. Онъ горячо вѣрилъ, что послѣ хаоса разрушенія Россіи озарится лучами новаго мощнаго солнца. Мой планъ былъ ѣхать въ Парижъ и тамъ начать это большое полотно. Не смотря на всѣ пережитыя невзгоды и испытанія, я чувствую такой громадный запасъ жизненныхъ и творческихъ силъ, что, кажется, времени не достаточно выполнить все, что назрѣло въ фантазіи.

— Это рѣдкое счастье! Кругомъ себя вы увидите людей, растерявшихъ весь запасъ бодрости, энергіи, вѣры въ себя и въ будущее. Ихъ обуялъ духъ унынія. Но меня къ нимъ не причисляйте.

— О, нѣтъ: вы очень сильны духомъ.

— Такъ же, какъ силенъ моей любовью къ Россіи... и къ вамъ. Вы намѣрены ѣхать въ Парижъ? — помолчавъ, спросилъ онъ.

— Да, я имѣла въ виду.

— Вероника Антоновна, вы не поѣдете въ Парижъ. Вы останетесь въ Берлинѣ.

Голосъ князя Олега звучалъ мягко, но увѣренно.

Вероника подняла глаза: взглядъ ея встрѣтился съ горячимъ взглядомъ князя Олега. Его лицо, слегка похუ-дѣвшее, было такъ же красиво, какъ и прежде. Надменная складка въ очертаніяхъ рта была смягчена новымъ выраже-ніемъ углубленной мысли въ большихъ сѣро-стальныхъ глазахъ.

Каждая черта его лица дышала силой и отвагой. Веро-ника въ эту минуту поняла, что ея радость встрѣчи свя-зана исключительно съ чувствомъ любви къ нему.

Оркестръ наполнялъ баръ нарастающими звуками рапсодіи Листа. Въ бокалахъ искрилось вино, отражая блескъ электричества. Въ груди Вероники подымалась могучая волна. Сердце сильно билось, глаза сузились. Она незамѣтно про-тянула подъ столомъ руку и вложила свои пальцы въ руку Олега.

— Идетъ громадная, свѣтлая волна, — взволнованно проговорила она.

— Милая, пойдемте вмѣстѣ на встрѣчу этой волнѣ.

— Да... вмѣстѣ...

Князь Олегъ крѣпко зажалъ въ своихъ сильныхъ паль-цахъ руку Вероники:

— Какъ я этого долго ждалъ!

Волна громаднаго счастья залила его мозгъ. Передъ нимъ была женщина, которую онъ давно любилъ и ждалъ. По прежнему все было въ ней гармонично и женственно-прекрасно. Ея таинственные, чарующіе лучи протягивались къ нему и пьянили его мозгъ. Онъ видѣлъ, что глаза ея зажигались горячими искрами.

Они вышли изъ бара и, не находя больше словъ, пошли вдоль освѣщенной улицы. Темные силуэты еще ого-ленныхъ деревьевъ, глубокія, синія вызвѣздившіяся небеса и мягкій ночной воздухъ пророчили скорое наступленіе весны. Острый, темный куполь „Gedächtniskirche“ стре-мился ввысь къ четко мигающимъ звѣздамъ.

Вероника подняла глаза. Взглядъ ея, скользя вверхъ по куполу, затерялся въ далекой синевѣ ночныхъ небесъ.

— Да будетъ свѣтъ!.. Господи, да будетъ свѣтъ! — прижавъ къ груди руки, съ глубокой вѣрой произнесла она, думая о Россіи и о своемъ новомъ счастьи.

XVII

Прошло двѣ недѣли. Былъ первый весенній день съ нѣжными и ясными колоритами. Вероника сидѣла у откры-таго окна своей отельной комнаты, съ книгой на колѣняхъ. На фонѣ голубой небесной дали легко и остро обрисовы-

вались купола „Gedächtniskirche“. Въ •тепломъ воздухѣ тягуче плылъ звонъ благовѣста. Въ ея воображеніи вставали вереницей картины недавно-минувшихъ годовъ испытанія и давно минувшихъ счастливыхъ годовъ въ той же, далекой теперь, и все-таки близкой, Россіи. Такія-же тихія и кроткія небеса, такой-же тягучій, кроткій, благодостный, зовущій къ молитвенному мечтанію, звонъ, въ раннемъ дѣтствѣ и въ юности... теплящіяся у иконъ лампы въ углахъ комнатъ стараго помѣщичьего дома... такой-же звонъ, тѣ-же полеты души къ молитвѣ, при входѣ въ громаднѣйшій соборъ блестящей когда-то столицы... лампы у Лика Чудотворной иконы Богоматери... тотъ-же звонъ въ дни тяжелыхъ испытаній террора... одиноко теплившіяся лампы въ пустующихъ храмахъ омертвѣлой столицы... и вотъ опять все тотъ-же звонъ, все тѣ-же благодостныя волны молитвенныхъ мечтаній... На сердцѣ счастье и радость... Жизнь всколыхнулась бурливыми потоками и яркими красками. Опять широкій путь къ славѣ... горячія крылья любви и страсти...

— Ника, по телефону спрашиваютъ можно ли къ тебѣ прѣхать? — братъ Вероники, окрѣпшій и посвѣжѣвшій, съ блестящими глазами, шумно распахнулъ дверь, ведущую изъ корридора.

— Скажи, что можно. Кто спрашиваетъ?

— Князь Суровъ. Ника, я ухожу въ синематографъ... Мнѣ некогда... — мальчикъ стремительно исчезъ, захлопнувъ дверь.

— И онъ счастливъ... Какъ хорошо! — художница на секунду закрыла глаза, потянувъ въ себя струю мягковорвавшагося въ окно весенняго воздуха. Въ воображеніи ея всталъ образъ князя Олега, ставшаго за эти дни такимъ близкимъ и дорогимъ. Она открыла глаза и устремила ихъ въ безоблачную синѣющую даль.

— Какъ хорошо жить... Какъ чудно жить, всегда жить и всегда пьянѣть у кубка жизни... — Въ углахъ мягко-очерченнаго, яркаго рта порхала лукавая, манящая улыбка.

Въ дверь постучались.

— Войдите...

Она знала кто стучалъ и ждала его.

На порогѣ стоялъ князь Сергѣй Суровъ.

Вероника поднялась, сдѣлала шагъ впередъ и остановилась. Въ глазахъ ея что-то зажглось, потухло, опять зажглось.

— Сергѣй Владимировичъ!.. Это вы?..

— Ну да, я! — съ юно-звонкимъ смѣхомъ, хорошо знакомымъ Вероникѣ, отвѣтилъ Сергѣй. Передъ нимъ стояла

все та-же женщина съ мѣдно-рыжеватыми волосами, съ зелеными глазами, яркая, съ озареннымъ лицомъ. Темное платье мягкими складками спадало вдоль высокой и, по прежнему, гибкой фигуры. Ни время, ни испытанія не отняли у нея того, что тянуло къ пей и къ чему онъ оставался равнодушнымъ.

— Я рада видѣть васъ... садитесь.

— Вы не ожидали видѣть меня? Но вѣдь я же телефонировалъ.

— Я думала, что это Олегъ Владиміровичъ.

— Ахъ, вотъ что! Я не помѣшалъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, ради Бога.

— Я пріѣхалъ вчера вечеромъ и уѣзжаю завтра. Узналъ отъ брата, что вы здѣсь и непременно хотѣлъ повидать васъ. Вы не измѣнились, это хорошо.

— Вы тоже не измѣнились. Расскажите о себѣ.

— О, съ тѣхъ поръ, какъ мы встрѣтились съ вами въ этомъ злополучномъ Кіевѣ въ восемнадцатомъ году, я столько продѣлалъ, что всего и не расскажешь. Теперь я сижу въ Парижѣ, жду Россіи и, по прежнему, вѣрю въ нее. Она обновится, очистится и, омытая слезами и кровью, воскреснетъ вновь, еще болѣе могучая. *Per aspera ad astra...**)

Князь Сергѣй заговорилъ о надеждахъ близкаго будущаго, о политикѣ, опять о Россіи... Вероника слушала его картавый, съ легкимъ паосомъ, голосъ и чувствовала, что отъ звуковъ его что-то начинало дрожать въ далекихъ, забытыхъ уголкахъ сердца: первая встрѣча... загорѣвшееся пожаромъ сердце... трепетныя ожиданія... короткія и притягивающія и отстраняющія слова по телефону... дождливый осенній вечеръ и долгія рѣчи про красоту лѣса съ опавшимъ желтымъ листомъ... потомъ прощайте, — я ухожу...

Она вспомнила, какой болью отозвались въ ея сердцѣ эти слова, рѣшительно сказанныя имъ... Онъ склонилъ голову въ вѣжливомъ поклонѣ и вышла... На краю стола стоялъ его стаканъ съ недопитымъ краснымъ виномъ, въ пенельницѣ слабо тлѣлъ плохо затушенный окурокъ папиросы... Подлѣ кресла — отогнутый уголь ковра, задѣтый его ногой... Въ ея уютномъ кабинетѣ сразу стало пусто, напряженно тихо, одиноко и тоскливо...

Все это въ нѣсколько мгновеній ярко встало въ памяти Вероники. Она не слышала, что говорилъ князь Сергѣй, хотя глаза ея были устремлены на него, хотя въ ушахъ звучалъ его картавый волнующій голосъ. Она тяжело вздохнула и усиленнымъ воли отогнала картины минувшаго...

Когда черезъ часъ въ ея комнату вошелъ князь Олегъ,

*) Страданіе приближаетъ къ звѣздамъ...

ея лицо озарилось, какъ и раньше, счастиемъ.

Въ глазахъ князя Олега она уловила тревожный вопросъ. Его брови были нервно сдвинуты.

— Мой милый, здравствуйте. — Она радостно протянула ему обѣ руки.

— Все благополучно? — многозначительно спросилъ онъ въ то время, какъ цѣловалъ обѣ протянутыя ему руки.

Она поняла, что значитъ этотъ вопросъ и быстрый взглядъ, брошенный въ сторону брата.

— О да, конечно, все благополучно... все какъ и было...

Въ ея сіяющей лаской улыбкѣ онъ прочелъ то, чего она не договорила.

КОНЕЦЪ.

Ноябрь 1920.

Минскъ по дорогѣ къ польской границѣ.

Послѣднія три главы — 9-го Іюля 1921 г. въ Берлинѣ.

Н. А. Лаппо-Данилевская.

